

ДИНА РУБИНА

# СИНДИКАТ

роман-КОМИКС



Дина Рубина

**Синдикат**

«ЭКСМО»

2004

**Рубина Д. И.**

Синдикат / Д. И. Рубина — «Эксмо», 2004

ISBN 978-5-04-141770-3

Автор, ранее уже судимый, решительно отмечает малейшие поползновения кого бы то ни было отождествить себя с героями этого романа. Организаций, министерств и ведомств, подобных Синдикату, существует великое множество во всех странах. Персонажи романа – всего лишь рисованные фигурки, как это и полагается в комиксах; даже главная героиня, для удобства названная моим именем, на самом деле – набросок дамочки с небрежно покрашенной сединой. И все ее муторные приключения в тяжелой стране, давно покинутой мною, придуманы, взяты с потолка, высосаны из пальца. Нарисованы. Сама-то я и не уезжала вовсе никуда, а все эти три года сидела на своей горе, любясь башнями Иерусалима, от которого ни за какие деньги не согласилась бы отвести навеки замороженного взгляда...

ISBN 978-5-04-141770-3

© Рубина Д. И., 2004

© Эксмо, 2004

## Содержание

Часть первая	6
Глава 1. В случае чего...	6
Глава 2. Подъезд	12
Глава 3. Синдики круглого стола	16
Глава 4. Департамент Фенечек-тусовок	22
Глава 5. Яша Сокол – король комиксов	33
Глава 6. Будни спонсора	39
Глава 7. «Себя как в зеркале я вижу»	44
Глава 8. Марина	54
Глава 9. Азария	63
Глава 10. «Двойная запись – принцип бухучета!»	68
Конец ознакомительного фрагмента.	74

# Дина Рубина

## Синдикат

*Автор, ранее уже судимый, решительно отмечает малейшие поползновения кого бы то ни было отождествить себя с героями этого романа.*

*Организаций, министерств и ведомств, подобных Синдикату, существует великое множество во всех странах.*

*Персонажи романа – всего лишь рисованные фигурки, как это и полагается в комиксах; даже главная героиня, для удобства названная моим именем, на самом деле – набросок дамочки с небрежно покрашенной сединой. И все ее муторные приключения в тяжелой стране, давно покинутой мною, придуманы, взяты с потолка, высосаны из пальца. Нарисованы.*

*Сама-то я и не уезжала вовсе никуда, а все эти три года сидела на своей горе, любясь башнями Иерусалима, от которого ни за какие деньги не согласилась бы отвести навеки замороженного взгляда...*

## Часть первая

*...о еврейском народе, народе религиозного призвания, нужно судить по пророкам и апостолам.*

**Николай Бердяев**

*Еще один вечный жид напялил на себя галстук-бабочку.  
Джозеф Хеллер. «Голд, или Не хуже золота»*

### Глава 1. В случае чего...

Утром Шая остановил меня на проходной и сказал, чтобы я передвинула стол в своем кабинете в прежнее положение, а то, не дай Бог, в случае чего, меня пристрелят через окно в затылок.

Решив побороться за уют на новом месте, я возразила, что если поставить стол в его прежнее положение – боком к окну, – то мне, в случае чего, отстрелят нос, а я своим профилем, в принципе, довольна.

Мы еще попрепирались немного (мягко, обтачивая друг на друге пресловутую библейскую жестокость), но в иврите я не чувствую себя корифеем ругани, как в русском. В самый спорный момент его пиджак заурчал, забормотал неразборчиво, кашлянул, – Шая весь был опутан проводами и обложен рациями. Время от времени его свободный китель неожиданно, как очнувшийся на вокзальной скамье алкоголик, издавал шепелявые обрывистые реплики по-русски – это два, нанятых в местной фирме, охранника переговаривались у ворот. Тогда Шая расправлял плечи или переминался, или громко прокашливался, – словом, совершал одно из тех неосознанных движений, какие совершает в обществе человек, у которого забурчало в животе.

Часом позже всех нас собрали в «переключке» для еженедельного инструктажа: глава департамента *Бдительности* честно отработывал зарплату. А может, он, уроженец благоуханной Персии, искренне считал, что в этой безумной России каждого из нас подстерегают ежеминутные разнообразные ужасы?

В случае чего, сказал Шая, если будут стрелять по окнам кабинетов, надо падать на пол и закатываться под стол.

Я отметила, что огромный мой стол, в случае чего, действительно сослужит хорошую службу: под ним улягутся в тесноте, да не в обиду все сотрудники моего департамента.

Если будут бросать в окна бутылки с «коктейлем Молотова», продолжал он, всем надо спуститься на первый этаж и выстроиться вдоль стены в укрепленном коридоре возле департамента *Юной стражи Сиона*. Не курить. Не разговаривать. Соблюдать спокойствие. А сейчас порепетируем. Па-ашли!

Все шестьдесят семь сотрудников московского отделения Синдиката гуськом потянулись в темный боковой коридор в отсеке *Юной стражи Сиона*. Выстроились вдоль стены, негромко и невесело перешучиваясь. Постояли... В общем, все было как обычно – очень смешно и очень тошно.

Прошли минуты две.

Все свободны, сказал Шая удовлетворенно. В его идеально выбритой голове киллера отражалась лампа дневного света, густые черные брови шелковистыми гусеницами сползли со лба к переносице. Пиджак его крикнул, буркнул: «Коля... жида в домике?... дай сигаретку...»

За шиворотом у него жил диббук, и не один...

\* \* \*

О том, что в моей новой должности ключевыми словами станет оговорка «в случае чего», я поняла еще в Иерусалиме, на инструктаже главы департамента *Бдительности* Центрального Синдиката.

Мы сидели за столом, друг против друга, в неприлично тесной комнатенке в их офисе в Долине Призраков – так эта местность и называлась последние несколько тысяч лет.

Глава департамента выглядел тоже неприлично молодо и легкомысленно. Была в нем сухопарая прожаренность кибуцника: выгоревшие вихры, брови и ресницы, и веснушки по лицу и жилистым рукам. Меня, впрочем, давно уже не вводили в заблуждение ни молодость, ни кибуцная заграпезность, ни скромные размеры кабинета. Я знала, что это очень серьезный человек на более чем серьезной должности.

На столе между нами лежали: ручка, затертая поздравительная открытка и ежедневник за 97-й год...

– ...и ты должна быть начеку постоянно, – говорил он. – Проснулась утром, сварила кофе, выгляни между глотками в окно: количество автомобилей во дворе, мусорные баки, кусты, качели – все ли так, как было вчера?.. Перед тем, как выйти из квартиры, загляни в глазок: лестница должна хорошо просматриваться... Не входи в лифт на своем этаже, поднимись выше или спустись на пролет. И ни с кем в лифт не входи – ни со старухой, ни с ребенком, ни с собакой... Да: и общественный транспорт в Москве для тебя заказан, – только автомобиль с личным водителем.

Заметил тень усмешки на моем лице, согласно усмехнулся и кивнул на стол:

– Возьми эту ручку... отвинти колпачок...

Из отверстия выскочили и закачались две легкие пружинки.

– Это бомба, – сказал он. – На такой подорвался наш синдик в Буэнос-Айресе, в семьдесят третьем... А теперь возьми открытку: она пришла по почте в день твоего рождения вместе с десятком других поздравлений.

Я заглянула в створчатую открытку с медвежонком, улетающим на шаре. Внутри было размазано небольшое количество пластилина с вмятой в него металлической пластиной.

– Это бомба, – повторил он ровно. – На такой подорвался наш синдик во Франции, в восемьдесят втором. Теперь ежедневник...

Я взяла блокнот, пролистнула несколько страниц. Со второй недели ноября и насквозь в толще всего года было вырезано дупло, в котором змейкой уютно свернулась пружина.

– Это бомба, – продолжал он. – На такой подорвался наш синдик в Уругвае, в семьдесят восьмом...

Я подняла глаза. Парень смотрел на меня пристально и испытующе. Но была еще в его взгляде та домашняя размягченность, по которой – будь то в стычке или душевной беседе, неважно, – я отличаю соотечественников, где бы они мне ни встретились.

Елки-палки, подумала я, не отводя взгляда, что ж я делаю?!

– Ничего-ничего, – он ободряюще улыбнулся. – Возьми-ка... – и подал брелок, крошечный цилиндр из какого-то белого металла. – Вот, в случае чего, когдаходишь в темный подъезд или в подворотню... Да не бойся, это всего лишь лазерный фонарик. Срок годности – десять лет.

...Я вышла из офиса Синдиката и перешла на противоположную сторону улицы, где под огромным щитом, возвещавшем о сроках сдачи трамвайной линии на этом участке пути, под тентом своего обшарпанного шляпного лотка сидел на высоком табурете толстый старик. Я уже

примеривала здесь шляпы – неоправданно, на мой взгляд, дорогие. Даже на уличном прилавке цены соответствовали этому респектабельному району Иерусалима, где жили потомки давних переселенцев, «старые деньги», черт их дери.

Я и в этот раз сняла с крючка широкополую шляпу из черной соломки. Старик тут же услужливо придвинул ко мне небольшое круглое зеркало на ржавой ножке.

Да... мое лицо всегда взывало к широким полям, всегда просило шляпу. Черную шляпу, которая, впрочем, облагораживает любое лицо.

В зеркале, из-под обвисших крыльев дохлой черной чайки смотрела на меня (вот достойная задача для психоаналитика!) – всегда чужая мне, всегда незнакомая женщина... Я – чайка! чайка!

– Тебе страшно идет... – произнес старик. Видно было, как он страдал от жары. Пот блестел у него на лбу, скатывался по седой щетине к толстым губам и уже пропитал линялую синюю майку на груди и на брюхе. – Страшно идет!

– Положим... Сколько же?

– Видишь, она одна такая. Она и была всего одна. Ждала тебя две недели.

– Ты еще спой мне арию Каварадосси, – сказала я бесстрастно, только так с ними и надо разговаривать, с этими восточными торговцами. И шляпу сняла, чтоб не думал, что я прикипела к ней сердцем. – Так сколько?

– Причем, взгляни – какая работа: строчка к строчке, и ты можешь мять ее, сколько хочешь, ей ничего не делается.

– Короче! – сказала я.

– Семьдесят.

– С ума сойти! – Я опять надела шляпу. Она действительно чертовски мне шла. Впрочем, мне идут все на свете широкополые черные шляпы. – За семьдесят она и тебе пойдет.

– Меньше невозможно. Это ручная работа.

– А я думала – ножная... Возьму, пожалуй, эту кастрюлю для разнообразия гардероба. За сорок.

– Издеваешься?! Смеешься над людьми, которые тяжким трудом, в ужасных условиях...

– Нет, не за сорок, конечно, это я загнула. За двадцать пять...

Я сняла шляпу и положила на фанерный прилавок.

– Постой! – он понял, что я собираюсь уйти. – Могу сбавить пять шекелей просто из симпатии. Она тебе очень идет. Я глаз не могу отвести.

– В твоём возрасте это вредно. Если сейчас ты не отдашь мне этот ночной горшок за сорок шекелей, разговор окончен.

– Забирай за шестьдесят пять и будешь меня благодарить!

– Я уже благодарна тебе по гроб жизни, ты меня развлек. Накрой своей шляпой знаешь что? Сорок пять шекелей – звездный час этой лохани, и не отнимай моего драгоценного времени.

– Шестьдесят пять, и разойдемся, довольные друг другом!

– Я и так довольна. Мой-то кошелек при мне. А ты торчи здесь, на солнцепеке, до прихода Машиаха.

И повернувшись, под призывно возмущенные его вопли – вот теперь главное не оглядываться, тем более что в кошельке у меня всего тридцать пять шекелей, а надо еще домой возвращаться, – бодро пошла прочь...

Но шагов через пятьдесят остановилась у ближайшего кафе и села за плетеный столик, вынесенный в тень старого могучего платана.

В три часа дня, в вязкую августовскую жару я была единственной чуть ли не на всей улице, если не считать старика-шляпника и легиона неустрашимых кошек, которых в изобилии плодит Иерусалим.

– Кофе... двойной, покрепче... И коньяку плесни...

– Сей момент, гевэрет! – воскликнул бармен и принялся весело насыпать и смешивать, звякать ложечкой, нажимать на рычаг кофейного аппарата... При этом он успевал приплясывать, подпевать музыке, отщелкивать пальцами ритм на всем, что под руку попадет. Его темные кудри библейского отрока с картины художника Иванова были щедро умащены какой-то парфюмерной дрянью, какой любят намазывать свои овечьи руна местные юнцы и юницы...

Из-под тента лотка, под щитом, с которого на прохожих мчался, чуть ли не вываливаясь за край, будущий трамвай, похожий на удава с глазами красавицы-японки, за мной наблюдал толстый шляпник. С видом последнего иудейского пророка он восседал на табурете и делал мне какие-то знаки. Я достала из сумки очки, надела их и расхохоталась: старая сволочь, он показывал оттопыренный средний палец правой руки, – очевидно, потерял надежду залучить меня под свою шляпу.

Я смотрела на неугомонные руки парнишки-бармена, вдыхала облачко ванили, поднятое брошенным на блюде кренделем, и думала – что я делаю, что я делаю?!

Эта тихая улица, кренящаяся вправо, словно стремилась улечься в отросшую тень своих туй и платанов, весь этот город на легендарных холмах, с его ненадежными домами, мимолетными людьми, вечными оливами, синагогами, мечетями и церквями... – весь этот город, колыхаемый сухими струями горного воздуха, пришелся мне впору, тютелька в тютельку, – натягивался на меня, как удобная перчатка на руку.

Мне было привычно ловко, привычно жарко и привычно лениво в этом городе, и – видит Бог! – дорога к этому кафе в Долине Призраков заняла у меня не так уж и мало лет.

Так что же, черт меня возьми, я *опять* делаю с нашей жизнью?!

Ночью я поднялась попить, прошлепала в кухню, босыми ступнями выглаживая теплый камень пола. В темноте на журнальном столике белела газета со вчерашними тревожными новостями. С более чем обычно тревожными новостями...

Выглянув в открытое окно, я вдохнула глубину августовской ночи в безмолвном расцвете звездных полян. Далеко внизу цепочка мощных фонарей выжгла гигантскую петлю дорожной развязки Иерусалим – Мертвое море. Налево, мимо белеющей срезом снятой груди холма пойдет новая дорога на Самарию... Над Масличной горой вдали – желто-голубое облако огней. Легчайшая взвесь предрассветной тишины... Уже и подростки разошлись по домам после бурных часов еженощной свободы. Нет более благостного места в мире, чем эта земля накануне очередной войны...

Я вернулась в комнату, бесшумно легла. До утра оставалось дотянуть часа три...

– Ну? – тихо спросил рядом внятный голос мужа. – Третью ночь колобродишь. Так же спятить недолго! Ну их к черту, эти деньги! Жили до сих пор, с голоду не помирали, подаяния не просили...

– Да, – глухо подтвердила я.

– Представь эти долгие зимы, слякоть, тусклую тьму...

– Представляю.

– ...давку в метро, огромный неохватный город, хамство российское, милицию-прописку... И нашу беспомощность и бесправность...

– Еще бы!

– ...к тому же и службу с утра до вечера...

– Да.

– ...быть заложником организации, а значит, идеологии. С чего бы ты, вольный разбойник, вдруг встанешь под знамена? Ну их к черту, все они друг друга стоят!

- Вот именно.
- В темноте, как слепец, он провел ладонью по моему лицу.
- Значит, отказываемся. Да?
- Да.
- Решено?
- Решено.
- Ну, и молодец. Спи...

Не продремав ни минуты, утром я набрала номер департамента *Кадровой политики* Синдиката.

– Я все взвесила... – сказала я. – Благодарю за предложение, весьма заманчивое и лестное... Надеюсь, вы правильно меня поймете... Видите ли, род моих занятий вряд ли совместим с обязанностями...

– Не понял! – отрывисто буркнули в трубке. – Род моих занятий любит ясность. Ты согласна или нет?

Я оглянулась на мужа. Он стоял, сцепив обе руки замком, показывая мне молча: «Будь тверже!»

Я отвернулась. В окне виднелся краешек сосновой рощи на соседнем холме с двумя кибитками пастухов-бедуинов, вдали – гора Скопус с башней университета, соседняя арабская деревня, торопливо заставленная коробками недостроенных домов... И надо всем – пустынное небо с прочерком шатуна-коршуна... Все то, на что я смотрю уже десять лет. Десять лет...

- У меня ни минуты нет на твои «пуцы-муцы»! Сейчас ответь – согласна ты или нет?
- Согласна, – сказала я.

\* \* \*

За неделю до отъезда, посреди растерянной суеты сборов, бессмысленных покупок, беспомощной беготни и ежедневного подписывания неисчислимых и нечитаемых мною бумаг в Долине Призраков (так что я б уже и не удивилась появлению призраков в моем помутневшем от жары и напряжения сознании), – нам удалось вырваться в Хоф-Дор, тем самым хоть на два дня оборвав затяжную истерику четырнадцатилетней дочери, не желавшей уезжать «ни в какую вашу дурацкую Россию».

Мы любили этот изрезанный кружевными петлями берег Средиземного моря между Хайфой и Зихрон-Яаковом; под высоким горбом ракушечного мыса – неглубокую бухту, на дне которой в ясную погоду видны ноздреватые базальтовые плиты, развалины затонувшего финикийского города. Любили круглые белые домики-«иглу» на травяных лужайках среди неохватных старых пальм; неказистый, окруженный частоколом деревянных кольев, воткнутых в песок, «Бургер-ранч», с колченогими скамейками и столами, – весь этот пляжный рай в двух босых шагах от моря, с его самозабвенной, переменчивой, неугомонной игрой синего с бирюзовым...

И все два дня плавали до изнеможения, до одури, безуспешно пытаясь смыть с души тягостную двойную тревогу – в ожидании «нашей» России и в ожидании нашей здешней неминуемой войны, которая уже набухала, уже сочилась гноем из всех старых ран и запущенных нарывов...

Дочь оплакивала свою жизнь.

– Вы – эгоисты! – кричала она. – Через три года я буду старая, понимаете?! – старая и всем здесь чужая!

Вечером она бродила по воде в длинной юбке, путаясь в тяжелом подоле, и до поздней ночи сидела, с несчастной прямой спиной, на горбу ракушечного мыса, глядела в море и тосковала – впрок...

Из влажной глубины ночи с ропотом рождалась волна, быстро перебирая валкий гребень лохматыми лапами белой пены, шеренгой катилась к нам, но выдыхалась, таяла и к берегу доплывала тончайшей кружевной шалью, фосфоресцирующей в латунном свете луны... А за ней, рыча, уже бежала другая шеренга дружных болонок из пены, и бесконечный их бег сминал любую надежду, любую робкую надежду на отмену неотвратимого...

...Наутро мы уезжали.

В последний раз сбегали искупаться «на минутку» и часа полтора никак не могли расстаться с морем. Наконец я повернула, поплыла к берегу в кипящей солнечными иглами воде, и с каждым подъемом на гребень волны медленно приближалась огромная пальма на берегу, взмывая в небо и опускаясь, взмывая и вновь опускаясь...

Я плыла над черными базальтовыми плитами, над развалинами финикийского города, бытовавшего под этим небом и упоенного на песчаном дне в такой глубине времен, о которой могли рассказать – и неустанно рассказывали – только эти волны. Я плыла, пока не нащупала ногами дна, встала и побрела, отирая ладонями мокрое лицо...

Мои на берегу размахивали руками, указывая куда-то вверх. Я закинула голову: два дельтаплана парили в дымной голубизне – белый, с оранжевыми полосами, и желтый, с зелеными. Казалось, они играли в какую-то игру, переговаривались, кивали друг другу, над кем-то подшучивали... Их темно-зеленые тени скакали по мелким волнам. Вода подсыхала на моем лице долгими жгучими каплями.

Боже, думала я, что я наделала! Что я наделала...

## Глава 2. Подъезд

Не знаю, как это получилось, но квартиру мы сняли, минуя проверку Шай. Возможно, в то время он находился в отпуске. Многие мои коллеги жаловались, что Шая, со своей маниакально-служебной подозрительностью, не позволил снять прекрасные квартиры в центре Москвы. Он являлся, грозный и неподкупный, залезал на чердаки, спускался в подвалы, вынюхивал лестницы, высматривал в бинокль соседние здания, вымерял шагами двор, ложился на асфальт, фонариком высвечивая днища машин...

И выносил свой вердикт.

– Нет, – говорил сурово. – Эта квартира опасна. Если поставить на крышу той школы напротив пулемет, то можно уже читать «Шма, Израэль!»<sup>1</sup>.

Или:

– Нет, из этого лифта отлично простреливается вся площадка. Если внутри укрывается террорист, а ты выходишь из квартиры, можешь заранее читать «Шма, Израэль!».

Словом, поиски квартиры для нового синдика длились неделями и даже месяцами, выматывая душу и озлобляя маклеров.

Мы как-то проскочили. Более того: сняли первую попавшуюся квартиру. Буквально – первую, в которую завез нас маклер Владик. Она мне понравилась сразу: небольшая, полупустая, свежестроенная, в одном из старых пятиэтажных домов Замоскворечья, в Спассолиновском переулке. За одно это название я готова была выложить все положенные нам на квартиру деньги.

– Мне нравится, – сказала я. – Берем.

Маклер Владик изумился.

– Как?! Прямо вот так, сейчас и эту? Но я приготовил вам на сегодня еще семь вариантов. Не хотите посмотреть?

– А чего там смотреть? – я хорошо помнила свою «хрущобу» на Бутырском хуторе. – От такого добра-то...

Ну, и въехали на другой день со своими двумя чемоданами.

Гибрид *Петроколумб (Клумбопетр)*, корсар среднерусской возвышенности – литая гигантская клумба, сувенир высотой с Эйфелеву башню, – плыл над Замоскворечьем под чугунными трусами, изображавшими свернутые паруса. В руке он сжимал золотой вердикт, врученный Петру испанской королевой и скульптором Церетели. Вместе с разноцветными фасадами старо-новых особняков по дуге набережной, с прыскающими посреди канала фонтанами, со страшновато-сладеньким, работы Шемякина, комплексом фигур-аллегорий всех пороков человеческих в сквере на Болотной... – все это вместе, по моему ощущению, убедительно пошлое, являло какую-то иную Москву, совсем не ту, что мы покинули когда-то. Это был притягательный город-монстр, могучий цветастый китч, бьющий наповал заезжую публику золотыми кеглями куполов на свеженьких церквах.

Впрочем, не все гранитные приметы прошлого были сброшены со своих постаментов: Ленин на метро «Октябрьская» – слободской громада в прибалатненном полупальто, с извечной кепкой, зажатой в кулаке, как каменюка, – по-прежнему к чему-то молча и властно звал... В хорошую погоду вокруг него каталось на роликах юное население, школьная программа которого уже не была устремлена в коммунистическое завтра.

---

<sup>1</sup> Шма, Израэль! – Слушай, Израиль! (*иерит*). Главная молитва религиозного еврея. Читается также в минуту смертельной опасности. (*Здесь и далее прим. автора.*)

Со временем выяснилось, что наш подъезд начинен всевозможными сюрпризами. Подавляющую часть времени домофон входной двери был испорчен, так что проникнуть в дом мог каждый, кому приспичит. В квартире на первом этаже жила семья любителей-собаководов, разводящих уникальную породу гигантской болотной собаки, в темноте мало чем отличающейся от рослого пони. Люди они были занятые и не всегда трезвые, собак своих выпускали погулять без сопровождения. В сумраке подъезда те поджидали жильцов у лифта, вежливо сопя, угрюмо оттирая их плечом к стене и тяжело наступая на ноги...

И все-таки главной бедой нашего подъезда были не бомжи, не пес-левиафан, подстерегавший жильцов во тьме у лифта, а – мальчик. Кроткий мальчуган из 16-й квартиры, ангелок с голубыми глазами и славно подвешенным языком. Именно он наводил ужас на весь дом. Именно за ним приглядывали в оба взрослые, именно его провожали подозрительными и свирепыми взглядами все жильцы дома. И ничего не могли предъявить в доказательство своих обвинений.

Впервые я столкнулась с ним спустя неделю после нашего переезда.

Вошла в подъезд и ощутила явственный запах гари, ненавидимый мною с детства, когда по осени в Ташкенте жгли кучи палых листьев и я, сжигаемая астмой, металась по квартире днем и ночью, пытаюсь найти уголок, куда бы не проникла удушающая вонь.

Слева, на желтой стене, в глаза бросались мятые почтовые ящики, частью обугленные, облитые водой. Под ними в огромной луже на кафельном полу мокли лохмотья черного пепла и валялись недоспаленные газеты, журналы, рекламные листки.

У лифта стояли двое – пожилая женщина и огненно-рыжий мальчик с лицом нежнейшего фарфорового сияния. Он напомнил мне юного финикийца с одной старинной гравюры.

– ...где я был, а где – огонь, – говорил он терпеливо и вежливо.

Женщина нервничала, наступала, угрожающе сжимала кулак перед его личиком.

– Знаем, зна-аем! Ты всегда ни при чем!!! А только где ты, там и горит! Вот погоди, если мать на тебя управу не найдет, то милиция уж выследит!!!

– Минутку, – сказала я, – здравствуйте. Я ваша новая соседка с третьего этажа. Что здесь у нас происходит?

– Да вот! – женщина кивнула на ребенка. – Беда нашего подъезда. Чуть не каждую неделю тишком дом палит!!! Видали, там, ящики? Главное, гад малолетний, всегда отпирается! И как назло, никто его за руку поймать не может! Ускользает!

Мальчик поднял вдохновенное остренькое лицо, проговорил:

– Как много на свете злых людей! Но я все стерплю. Я посылаю им свет в душе!

Слишком он был бледен и худ. У меня просто сжалось сердце. Подошел лифт, мы втроем вошли в него.

– Вы не имеете права обвинять мальчика бездоказательно, – сказала я соседке вполголоса. Она метнула на меня яростный взгляд и, выходя на своем втором этаже, в сердцах ответила:

– Не имею?! Ну-ну... Погляжу я на вас, когда вместе-то запылаем... И главное, этот паршивец сам – с последнего этажа! – сквозь огонь будет рваться вниз. И не успеет!

Двери за ней сошлись, странный мальчик проговорил речитативно-молитвенно куда-то поверх моей головы:

– Злые люди возводят на меня напраслину, злые люди... Но я всем посылаю свет в душе!

Я вышла из лифта и оглянулась. Еще мгновение юнец стоял в тусклой кабине, ангельски кротко сияя огненно-рыжим нимбом волос, как рыбка-вуалехвостка в тесном аквариуме.

Двери стакнулись, лифт понесся на последний этаж...

*Microsoft Word, рабочий стол, nanika rossia, файл sindikat*

«...какое счастье, что я – человек птичий, и проснуться в пять утра мне не в тягость. Семья спит, значит, эти два заветных часа – с пяти до семи – станут моим необитаемым островом, куда я не позволю сунуть нос ни одному на свете Пятнице...

...ременная-погонная, кнутовая писательская упряжка: необходимость вывязать буквами хоть несколько слов, хоть несколько строк, будто через эти мельчайшие капилляры кириллицы мы выдыхаем в пространство переработанный воздух нашей жизни.

Уже очевидно, что при моей московской круговерти ничего серьезного написать не удастся. Впрочем, обрывки этих рассветных мыслей, вчерашние картинки и ошметки разговоров все равно сослужат в будущем свою неминуемую службу.

Какое счастье – этот волшебный «ноутбук», купленный для меня безотказным и многоопытным Костяном в лабиринтах компьютерного рынка на Савеловском. Помимо необходимых действий он еще напевает, позванивает, высылает для утреннего приветствия – без всякого моего запроса – потешного человечка, карикатуру на Эйнштейна, и тот шляется по экрану, высовывает язык, грозит кулаком, смачно отхаркивается и хлопает дверью, если я даю понять, что пора и честь знать. Надо бы пожаловаться Костяну, пусть ликвидирует наглеца.

Словом, мой новый компьютер – едва ли не самая приятная сторона в этой странной жизни.

...а пока мы обрастаем бытом. В Синдикате мне выделили водителя Славу, и мы с ходу подружались – парень он, по его же словам, «битый, ушлый и крученный, как пороссячий хрен». Коренной москвич, по образованию геолог, прошел все этапы разнообразной жизни столицы последних двух десятилетий, с ее перестройками, очередями, взлетами, дефолтами и рыночной экономикой.

Каждый раз изумляет меня еще одной своей профессией, еще одним эпизодом биографии, о котором сообщает походя, роняя слова как бы случайно.

– ...помню, в бытность мою купцом ганзейским...

– Слава, поясните...

– ...да был у меня ларек на Тишинском, специями торговал... Одолжил капиталу у приятеля – помню, целый чемодан полтинников. Его маманя наколядовала этих полтинников на поприще теневого бизнеса...

Говорок у него ладный, вкусный, московский – успокаивает. Иногда после особенно тяжелого рабочего дня я задремываю под его сказовую интонацию, а когда всплываю, подаю реплики по теме.

– ...и вылезает из авто мордоворо-о-ты, – выпевает Слава, – пальцы ве-е-ером выгибают...

– Ну?!

– Ну, и остался человек – с опухшим хреном и без штиблет!

Разъезжаем мы на «жигулях», и Слава дает понять, что в остальное время суток, – а он работает с нами неполный день, – ездит на другой машине. На какой? – Загадочно лыбится... Физиономия татарская, раскосая, башка бритая – с виду совершенно уголовная личность. Но это-то и удобно: со Славой я чувствую себя защищенной.

История его появления в Синдикате такова: потерпев пять лет назад провал на очередном этапе предпринимательской деятельности, Слава

кинулся в ножки к соседу, Гоше Рогову, который, по слухам, варил большие дела в какой-то еврейской конторе.

Гоша, по определению Славы, – «человек недешевый, мудрый старый цапель», в прошлом – полковник известной серьезной организации, – в девяностом вышел на пенсию и нанялся к евреям водилой. Евреи платили, что бы там о них ни рассказывали... Получив в то тяжелое время уважительную зарплату и раз, и другой, Гоша отдался новому делу всей душой; а дело поднялось и расцвело: евреи перли в свой Израиль колоннами, батальонами, армиями, как новобранцы на призыв, – знай только подавай транспорт. В этом было даже что-то мистически-неуклонное, словно не сами они так решили, а кто-то тащил их волоком, чуть не за волосы... Так что Гоша поднанял еще ребят на извоз, те несли ему, как положено, оброк чистоганом. Построил Гоша дачу, прикупил небольшой парк машин...

Для начала он взял Славу на испытательный срок. Дело-то нехитрое, говорит мне Слава, выкручивая баранку, ловко выворачиваясь, вывинчиваясь из любой пробки, – они же, эти израильтяне, народ легкий на подъем, шепутной, цыганистый: приехал-уехал, туда-сюда, вокзал-аэропорт, ну, иногда по городу повози, покажи им «Кремлин», – они: «ах! ох!», – вопят на всю Красную площадь, ребята такие непосредственные... как там Гоша называет их – между нами, конечно! – «клоуны».

– Я сначала от их имен ошалевал, – говорит Слава. – Это ж не имена, а какие-то воровские клички! У меня дома жена заявки принимала по телефону. Записывала на бумажке. Я прихожу, читаю: «Нога Пас... Батя Бугай... Амация...» «Ты что, – говорю, – сдурела?! Ты чего мне здесь лепишь?! Что это еще за нога? Что за бугай? Какой такой батя?! Мне ж в аэропорту стоять с табличкой, встречать людей!»

– «Не знаю, – говорит, – так Гоша продиктовал»... И вот выходит изящная такая дамочка, Нога Паз, у них «Нога» – с ударением на «о» – чуть ли не яхонт или что там еще драгоценное... И Батя Бугай, тоже милая девушка.

А вот Амация зато... Стою с табличкой, нервничаю, все выглядываю хрупкую барышню типа гимназистки... Оказался огромный волосатый мужик кибуцник, килограмм на сто тридцать, чуть не в резиновых сапогах, бородища – как куст боярышника... Амация, блин!

Так попал Слава в Синдикат, организацию, как ни крути, полуподпольную, своеобразный рыцарский орден. Я уже заметила: когда человек попадает в нее, даже местный, даже коренной русак, он становится членом закрытого братства. Между прочим, во всем этом есть изрядная доля романтики.

Меня Слава не упускает случая поучить жизни, зовет, как в деревнях, по отчеству – Ильинична.

– Эх, – говорит, – Ильинишна! Ну и представленница у вас! Все какая-то сентиментальность в голове, какая-то советская дружба народов... Давненько вас тут не было. Это ж, доложу я вам, – совсем другая, очень конкретная безжалостная жизнь...

### Глава 3. Синдики круглого стола

Мой патрон, Генеральный синдик региона «Россия», в прошлом – боевой полковник Армии Обороны Израиля, бесстрашный вояка, увенчанный наградами и изрешеченный пулями, – был человеком добрым и нерешительным. Демобилизовавшись из армии и попав на руководящую работу, он столкнулся с суровой реальностью: обнаружил, что боевого опыта и командной жесткости совершенно недостаточно для новой его должности на гражданке.

Это был невысокий толстый человек с уютно-дамской задницей и круглым животом, с виноватыми добрыми глазами, ежеминутно готовыми увлажниться, и абсолютной неспособностью вцепиться ближнему в глотку и выкусить трахею.

По сути дела, это был Карлсон, которого сняли с крыши, лишили пропеллера и запретили какие бы то ни было игры, кроме одной. Это был бравый солдат Швейк, по недоразумению выслужившийся до капрала. Его отличал грубоватый солдатский юмор и постоянное стремление накормить и обустроить своих подчиненных. Кстати, он прекрасно готовил и крепко выпивал.

– Ну, повезло, ничего не скажешь! – заметила недели три спустя после воцарения его в должности Генерального всегда критически настроенная секретарша Рутка. – Послал бог начальника, пьяницу-румына.

Звали его Клавдий – вполне обычное мужское имя. Румынские евреи часто дают сыновьям имена трубадуров и императоров. За глаза, конечно же, мы звали его Клавой.

На вопрос «Как дела?» Клава отвечал обычно утомленным голосом: «Как легла, так и дала», – с милым мягким акцентом. У него было славное круглое лицо с ямочкой на волевом подбородке и арбузная лысина. Мягче и уступчивее человека мне в жизни встретить не пришлось.

В начале 90-х, в самую тяжелую и счастливую для Израиля страду *Великого Восхождения*, он работал здесь, в Советском Союзе, в опасных и бессонных условиях, отправляя тысячи *восходящих* в день. Именно в те легендарные годы он поднаторел в русском и говорил сносно, хотя и с ошибками и забавным акцентом.

Его любило множество самых разных людей.

– Не знаю почему, – говорил он, – но стоит мне оказаться где-нибудь на банкете, за моей спиной обязательно кто-то проходит и целует меня в лысину.

Таинственное слово «*замбура*», этимологию которого я безуспешно пыталась выяснить все три года пребывания в России, в устах моего начальника иногда приобретало различные смысловые оттенки – в зависимости от его настроения. Если бывал торжественно настроен, он придавал этому слову бравурное звучание – «*замбурион*!» – при этом сопровождая слово известным жестом *преломления руки в локте*.

– Чтоб вам не было скучно, *замбура*, – говорил он, собрав всех нас, своих подчиненных, в комнате на втором этаже, которую по традиции называли «перекличкой», – знайте, что к нам опять едет группа из Министерства туризма. В конце концов я подохну, ублажая этих иерусалимских бездельников. *Замбура!*

Поскольку еврейский мир Москвы за последний десяток лет наплодил тьму разнокалиберных организаций, и все они бурлили, отмечали даты, издавали информационные листки, газеты и журналы, учреждали конгрессы, объединения, фонды – которые затем враждовали друг с другом, – Клаву, как спонсора, время от времени приглашали выступить на публике.

Тогда он вызывал меня и говорил:

– Хотел вечером запечь баранью ногу и посидеть, как человек. Но звонил Гройс, просит выступить. Напиши несколько слов. Только не на своем высоком русском, так что я выгляжу идиотом, когда принимаюсь читать всю эту херню. Несколько простых коротких слов от души. *Замбура!*

И я писала. Писала просто, даже слишком просто. От души. Что-нибудь такое: «Дорогие друзья! Сегодня мы открываем еврейский детский сад. Дети – наше счастье. Дети – наше будущее. Все мы хотим, чтоб они были здоровы. Еврейские праздники. Еврейские песни. Еврейская душа. Все это они узнают тут».

Толстяк читал это по-русски с милым акцентом. Ему все хлопали. *Замбура!*

\* \* \*

Организация наша называлась Всемирный Синдикат «*Восхождение*», или попросту – Синдикат. Ветвилась она по многим странам, выпуская свои ростки во всех местах, где существовало мало-мальски плотное еврейское население. Ну а уж страны бывшего СССР были буквально прошиты нашими стежками, исхожены вдоль и поперек нашими следопытами, евреи просчитаны, пронумерованы, оприходованы, введены в *Базу данных*. Учитывалось даже число *обращений в Синдикат*, их включали в особую базу данных, – которая так и называлась: *База данных обращений*, – даже и в том случае, если к нам попадали по ошибке, вместо прачечной или химчистки. Полагаю, Синдикат – было последним, что еще связывало страны отошедшего в прошлое, могучего и великого Советского Союза.

Главной задачей, смыслом и целью существования Синдиката было, конечно же, – *Восхождение народа в Страну*.

О *Восхождении*, – понятии, как я сразу поняла, сакральном, – на совещаниях, съездах и в кулуарах Синдиката все говорили, как грибники о грибах (*после вчерашнего дождя пошли рыжики*), как рыбаки о рыбе (*перед штормом рыба ушла*), как садоводы о своей теплице (*если б я не встал в шесть утра укрыть розы, они бы все померзли*). При этом урожай – случись хороший год или плохой, – никак не зависел от наших усилий, так же, как не зависит урожай рыжиков от желания продрогшего грибника, блуждающего по опушке в прорезиненном плаще; как улов не зависит от рыбака, сиди – не сиди он над удочкой.

Помимо естественных причин *торможения еврея перед стартом*, помимо его сомнений, страхов перед Синайской пустыней, в которой, похоже, он боялся споткнуться о скрижали, разбитые еще гневливым Моисеем... помимо его укорененности в российских снегах и душевного трепета перед вечной иконой под названием «русская интеллигенция», – под ногами у нас еще путалась пышнотелая Германия, северная валькирия с зазывно распущенными власами, жирными пособиями и *прохладным европейским климатом*.

Климат! – вот что служило оправданием многим, свернувшем с пути. Да, в Иерусалиме климат всегда был жарче германского, спорить с этим просто глупо. Не считая, конечно, тех нескольких, всем известных, лет, когда в Германии *так хорошо топили*...

Словом, подразумевалось, что человеку нелегко решиться на столь крутое *Восхождение* в Святую землю. Синдикат предлагал рискующему множество подпорок, подъемников, ступеней и страховочных ремней. Размахивая молотками, мы сами вбивали в скалы крюки под неуверенные ноги *восходящих*. Мы страховали их своими спинами и плечами, подсаживали, надсаживались, обливались потом и тяжело матерились.

Эта вредная работа в полевых условиях не каждому была по плечу.

В утробе московского отделения Синдиката действовали несколько департаментов.

Одним из главных, коренных – важнейших был, конечно же, департамент *Восхождения*;

Департамент *Юной стражи Сиона*, со штатом молодых разбитных сотрудников, работающих по договору подряда, – самым многочисленным;

Недавно созданный департамент *Загрузки ментальности* должен был исследовать самосознание наших подопечных и тренировать его, как тренируют альпинистов перед восхождением – постепенно увеличивая нагрузки.

Самым косным, громоздким, привязанным к изучению языка, был департамент *Языковедения*.

Главы департаментов, эмиссары, звались *синдиками*.

На московское представительство было нас восемь Высоких Персон Послания... – *и восемь синдигов прекрасных...*

Вот, собственно, и все.

Ах, да! Про себя и забыла.

Я занимала должность главы департамента *Фенечек-Тусовок*.

*Из «Базы данных обращений в Синдикат»*

*Департамент Фенечек-Тусовок*

*Обращение номер 345:*

*Мужчина, уверенным басом:*

*– Не подскажете ли, каков статус эстонского языка в Израиле?*

\* \* \*

Все эти звучные названия «департаментов» означали – несколько комнаток в здании бывшего детского сада, давно не отремонтированного, но хорошо укрепленного на случай «в случае чего». Колючая проволока поверх высокого забора, специальная будка, из которой по четырем телевизорам охранники в разных ракурсах наблюдали посетителя, посмеявшегося приблизиться к железным воротам садика.

И, наконец, проходная, где наши опричники разбирались с посетителями по-настоящему.

Пропускной системе на входе в офис Синдиката могли позавидовать любой банк, любое посольство, любой секретный военный объект.

Однажды я купила новую шляпу, и меня не пускали битых полчаса.

Я бесновалась, кричала на иврите в переговорное устройство:

– Шая, ты что, не видишь, что это я?!

– Повернись, – отвечал он, сверяя мой профиль в новой шляпе с моей служебной фотографией.

А уж постороннего, желающего проникнуть в детский садик, разоблачали до положения риз, до ничтожной запятой в биографии, до последней жилочки души, до кальсон, до несвежих носков, до геморроя.

После проверки в деревянной избушке посетители мужского пола выходили во двор с ремнями в руках – металлические пряжки звенели в подкове магнита, – и если б не растерянное выражение лица, можно было подумать, что они сейчас выпорют любого, кто под руку подвернется.

Наши бдительные стражи прощупывали швы на белье, невзирая на лица в самом буквальном смысле этого слова.

На лица вообще не взирали, взирали в заполненный секретарем департамента бланк заявки на пропуск посетителю... Там значился ряд упомянутых пунктов:

«Имя, фамилия, профессия посетителя».

«Кто инициатор встречи?»

«Когда, при каких обстоятельствах вы познакомились?»

«Причины, заставившие вас назначить встречу данному господину (же)».  
«Прошу освободить от проверки» (это означало просто вытрясти из несчастного душу).  
«Не прошу освободить от проверки» (означало повернуть его на фарш).

Я всегда и всех просила освободить от проверки. Даже старых перечников, которых видела в первый и – при известных усилиях – последний раз в жизни.

Но обычно этого бывало недостаточно.

Сначала звонил Шая.

– Дина, – спрашивал он после сердечных приветствий. – Ко мне поступила от тебя заявка на некое Шапиро, на двенадцать тридцать. Кто он?

– Старый еврей, – не моргнув глазом, отвечала я.

– Ты знакома с ним?

– Конечно, – легко говорила я. – Много лет.

– Зачем он приходит?

– Потолковать о политике. – (Самое интересное, что этим обычно и завершался любой визит кого бы то ни было.)

– Ладно, – приветливо отвечал Шая и вешал трубку.

Но минут через десять ко мне поднимался его подчиненный Эдмон, юный израильский маугли, мерзнувший в этом ужасном климате. Начинался второй тур переговоров.

– Дина, вот этот Шапиро, – неторопливо заводил Эдмон. – Сколько лет ты его знаешь?

– Пятьдесят, – говорила я.

– А чем он занимается?

– Не помню. Шьет наволочки! – как всегда, я заводилась с пол-оборота. – Вот он явится, и ты разберешься. У тебя будет возможность заглянуть в его несвежие кальсоны.

Являлся Шапиро, который оказывался второкурсником исторического факультета РГГУ. И стоя босыми ногами на резиновом коврикe, поддерживая брюки, он закладывал меня с первой же минуты: испуганно и подобострастно сообщал, что не видел меня ни разу в жизни, что сам просил о встрече, что ему от меня нужны деньги на проект возрождения письменности хазар или еще какой-нибудь срани в этом роде. В результате подлый шенок нарывался на настоящий обыск со сдергиванием шкуры, а меня ждала суровая проработка Шаи.

\* \* \*

Все заседания Высоких Персон Послания Московского отделения Синдиката назывались *перекличкой синдиков*. Происходили они в большой комнате на втором этаже, за огромным круглым столом, кустарно выкрашенным черной краской. Когда-то, в эпоху здесь детского садика, приватизированного в начале 90-х одним удачливым корсаром, который уже второй десяток лет сдавал Синдикату помещение за безумные деньги, – в этой комнате проходили музыкальные занятия: стояло пианино, дети в костюмах зайчиков и мишек скакали в затылочек друг другу.

Сейчас взрослые дяди и тети, собравшиеся вокруг стола, тоже играли в какую-то игру, правил которой я еще не научилась понимать.

На первой же *перекличке синдиков* Клавдий, только вступивший в должность, произнес знаменательную и глубоко тронувшую меня речь:

– ...Только не стройте из себя важных шишек, ребята, – сказал он. – Всем известно, кто нанимается к нам на работу. Не хочу сказать, что все вы – шушера, шваль и мусор, но факт, что устроенные и удачливые люди вряд ли согласятся вылезти из своей теплой постели в Израиле, покинуть свой дом и, задрав хвост, переться в бандитскую страну черт знает зачем... Оставим в покое идеологическую патетику наших боссов. Мы и сами в свое время совершили то, что

называется *Восхождением*, неважно почему: по зову сердца, по глупости или хрен еще знает как. Важно, что у всех, сидящих здесь, появились причины вернуться и заново пережить то, что каждому из нас хочется забыть... Все мы тут не от хорошей жизни, все неудачники – вот я, например, подписал контракт с Синдикатом после провала попытки завертеть ресторанный бизнес. Жизнь наша здесь тяжелая, крутиться приходится в тесном кругу людей, которых не выбираешь и с которыми при других обстоятельствах на поле рядом не сел бы... – он остановился, обвел нас медленным взглядом, погладил лысину и продолжал: – Работа сложная, ненормированная, тошнотворная. Никакие деньги не окупят вашу заброшенность и чуждость здесь всему и всем... И это сейчас. А будет – смело могу предсказать – все хуже и хуже. Ситуация там, дома, с каждым днем все сложнее, война будет обязательно, значит, пойдет свистеть экономика, начнут закрываться предприятия, подскочит безработица, профсоюзы, как всегда, примутся шантажировать правительство своими блядскими забастовками... Короче, не представляю себе идиотов, которые снимутся с мест искать удачи в наших краях... Уже сейчас потоки *восходящих* мелеют с каждым днем, – верный знак, что грядет сокращение штатов и что начальство будет приезжать сюда с проверками каждый месяц и трахать нас до звона в ушах. Замбура!

Я внимательно слушала Клавдия – в то время я еще вслушивалась в каждое слово, веря, что оно что-нибудь да значит. Справа от меня сидел Яша Сокол, глава департамента *Восхождения*. Опустив голову, он рисовал что-то в мелких квадратах на листках блокнота. Я скосила глаза и увидела, что это комикс, причем очень талантливый и профессиональный: двумя-тремя штрихами Яша набрасывал очень точный карикатурный портрет и придумывал коротенькие фразы, которые персонаж то ли выплевывал в пузырь у рта, то ли втягивал в себя... На первой же картинке я увидела Клавдия со спущенными штанами и фразой, вылезавшей из рта: «Я готов к приему комиссии!».

Слева, как ни отводи взгляд, в глаза лезли крашенные фиолетовым лаком ногти Анат Крачковски, или, как все ее называли, бабы Ньюты, возглавлявшей департамент *Языковедения*. Она завершала последний год своей службы, и все коллеги с надеждой ожидали тот счастливый день, когда вздорная баба Ньюта покинет наши ряды.

В прошлом танцовщица ансамбля «Северные кибуцы», была она похожа на Павла Первого перед удушением: белые космы дыбом, вытаращенные глаза и азартная готовность завязать скандальчик на любую тему с первым встречным. Когда в конце коридора показывалась ее пританцовывающая фигурка на петушиных ногах с икрами гладиатора, всех нас сносило в сторону. Разминуться с бабой Ньютой мирным путем было совершенно невозможно даже мне, чей департамент стоял в Синдикате наособицу.

Напротив сидел меланхоличный Изя Коваль, глава департамента *Загрузки ментальности*. Программист, доктор физмат наук на гражданке, он был человеком, утонувшем в собственном мобильном телефоне. Это была его всепожирающая страсть, вечное стремление к совершенству. Он менял новую модель мобильного телефона на новейшую, как только вычитывал в Интернете или узнавал о последних достижениях в этой области.

– Сынок!!! – ликуя, сообщал он Яше Соколу. – Представляешь, в Пенсильвании разработана система, когда мобильник сам определяет – звонить ему или нет. Если, скажем, ты на совещании, где тебя дрючит Клава или какой-нибудь Шток, если ты, скажем, с бабой... – автоматически включается автоответчик или переадресация. Причем, это пустяк, просто используются микрофоны, камеры, датчики движения и, конечно, комп...

...По левую руку от него клевал носом Главный распорядитель Синдиката Петр Гурвиц, циник и хитрец, пьянствовавший вчера до рассвета. В тихие минуты похмельной прострации он был до остолбенения похож на апостола Петра, каким того изображал ЭльГреко: продолговатая лысина, страдающие кроткие глаза под седыми косматыми бровями и большой узло-

ватый нос, кренящийся в сторону, где наливали... В дополнение к образу – большая связка ключей – не от рая, конечно, а от сейфа с валютной наличностью Синдиката – по израильской привычке болталась у него на поясе.

По правую руку от Изи Ковалья подсакивал то на одной, то на другой ягодице ироничный плешивый юноша Миша Панчер, глава департамента *Юной стражи Сиона*, вечно занятый собой, как курица просом. Всем своим видом он давал понять, что цену себе знает, что это высокая цена, но ни копейки он не уступит. Он настаивал, чтобы его называли «доктор Панчер» и, возможно, и вправду был доктором, хотя к своим сорока годам успел написать четырнадцатистраничную брошюру на тему раскрепощения внутреннего мира современного подростка, закабаленного семьей.

Под брюхом выступавшего Клавды сидел Джеки Чаплин, наш бухгалтер, симпатичный парень родом из Аргентины, с мягкой улыбкой в серых глазах. При каждом соленом словце шефа он закатывал глаза к потолку и подмигивал коллегам. Перед ним лежал толстенный гроссбух, в который он вписывал что-то мелкими цифрами, словно ни на секунду не мог отвлечься от своей работы.

Я вздохнула и медленным панорамным объездом оглядела эту сумрачную комнату, людей вокруг огромного стола, медлительно аукающихся в тягостной, растяженной во времени, вялой *перекличке*...

Баба Нюта через стол втолковывала Яше, что не пустит его на семейные семинары, проводимые департаментом *Языковедения* – не даст *охмурять* родителей с целью завлечения подростков на образовательные программы в Израиле...

– Почему? – уныло спрашивал Яша, пытаясь оставаться в рамках вежливого выяснения отношений.

– Потому! – бодро отвечала старуха, дую на пальцы со свежеположенным темно-синим лаком. – Чего это я буду делать тебе подарки? Это моя база данных!

– Но ведь ты скоро уезжаешь! – миролюбиво спрашивал Яша тоном внука, напоминающего бабуле, что та скоро умрет.

– Никуда я не уезжаю! – отрезала баба Нюта. – Я вас всех здесь пересажу!

... Клавдий был ужасающе прав: в этой компании, хочешь не хочешь, мне предстояло вариться три года. Ну что ж, – подумала я в тот первый раз, – обычные люди, каждый со своими заморочками; но ведь не злодеи, не ворюги, не аферисты...

## Глава 4. Департамент Фенечек-тусовок

Как в сказке – в мгновение ока, – подписав соответствующие бумаги, из прохожего гусяра, из купца мимоезжего, из трубадура бродячего я превратилась в удельного князя с целым штатом дворни. Всеми этими людьми мне предстояло командовать, вникать в то, что они делают, направлять, поправлять, казнить или миловать... То есть вести жизнь абсолютно противоречащую моим привычкам и убеждениям, всему моему нутру.

Еще в Иерусалиме, перед отъездом, мы встретились с моим предшественником на этой должности, который приехал в последний свой отпуск. Мы назначили свидание в «Доме Тихо», одном из кафе в центре Иерусалима.

Я нервничала, заглядывала ему в глаза, спрашивала:

– Ты меня введешь в курс дела? Расскажешь все, объяснишь?

– Да что ты суетишься? – спросил он, поморщившись.

Это был осанистый пожилой господин, все еще красавец, в прошлом – издатель, книжник, переводчик, то есть, как и я, всю жизнь балансирующий на канате штукарь. И вот лишь в последние годы повезло ему, вывезла кривая прямиком в Синдикат: и заработать, и Москву повидать, и себя показать спустя годы отсутствия в России. Он только вошел в эту жизнь, обустроился, обвыкся, восстановил старые знакомства, завел новые... Но ударил колокол, – Синдикат сменил часовых. А он не хотел, не мог с этим смириться! И потому говорил неохотно, отводил глаза и, вероятно, мечтал о том, чтобы я провалилась куда-нибудь со своей свежей истовостью.

– Не торопись, не рви удила! Погоди, скоро тебя затошнит от собственной готовности плясать служебную лезгинку перед каждым кретином...

Он подозвал официанта, заказал кофе, ореховый торт и велел мне достать ручку и листок бумаги.

– Во-первых, наш департамент... Это новое образование, изобретено и введено в действие Иммануэлем, как и все новшества в Синдикате. Понимаешь, времена, когда народ сюда ехал, отошли в прошлое. Евреи вострят лыжи куда угодно – хоть к людоедам в Новую Гвинею, не говоря уж о Германии или Канаде... А здесь, ко всему еще, новая войнушка затевается. Короче, Иммануэль... да знаешь ли ты Иммануэля?

– Говорят, он мой непосредственный начальник? Похож на поджарого пса с весело закрученным хвостом, да?

– Скорее, на бешеного Полкана, которому семь верст не крюк... Так вот, Иммануэль прикинул, что надо бы организовать такой департамент, где бы людей не строили, не орали с порога: «Евреи, пакуйте чемоданы!». Думаю, и к тебе они обратились не случайно: ты человек публичный, свободный, трепливый, мелькаешь там-сям... Видишь, другие-то зубрят гранит идеологии на спецкурсах, потом проходят еще крутой отбор, а после их ждут кулачные бои за место назначения... Тебе же карету подали к подъезду, пригласили на особых основаниях, чтобы ты публику тамошнюю обрабатывала культурненько, с умом и вкусом, невзначай, намеком...

– Что значит – намеком? – спросила я.

– Ну, скажем, устраиваешь ты семинар. И называется он не в лоб, не грубо: «Восхождение в Страну», – а как-нибудь культурно, вроде бы ты со своим департаментом имеешь к Синдикату опосредованное отношение... Евреи в Москве высокомерны и пугливы, как лоси. Они как почуют, что их хотят загнать в загоны, тут же взбрыкивают... А ты им – «Спокойно, ребята, я – своя, я, типа, сама отвязный писатель, служу здесь по части фенечек-тусовок-пикников...»

– Каких это пикников?

– Ну, каких... А вот ты их за город вывозишь, воздухом подышать...

– Воздухом?! Но это ведь уйма казенных денег!

– Это уйма американских денег. А у тебя бюджет, и если ты его не потратишь к концу года, в будущем году его сократят... Райкина еще помнишь, – рояль на овощную базу?

Я ужасно разволновалась.

– Но ведь можно тратить деньги на нужные вещи!

Он ложечкой аккуратно отвалил кусок орехового торта, поддел его и осторожно понес ко рту. Кусок был слишком велик, он подрагивал и грозил рухнуть на скатерть... но все же благополучно достиг седых кустов его рта.

– ...Нужные? – прожевав и обтерев салфеткой усы, повторил он. – Какие же это нужные?

– Ну... Не знаю пока.

– Не знаешь, – подтвердил он удовлетворенно. – А между тем ты – фонд, и немалый. Ты сидишь на мешке с деньгами. А в Москве – чуть ли не пару сотен еврейских организаций, и каждая в свое время явится с протянутой рукой.

– И каждой я должна дать?! Сколько?! – меня охватила паника, как всегда при возникновении темы денег. (Интимная семейная тайна: я не умею считать.) Он туманно улыбнулся.

– А вот в этом и весь кайф. И даже – острое наслаждение. Можешь дать, а можешь и не дать... Тут все зависит от отношений, а отношения штука тонкая... Понесут к тебе проекты, разного рода затеи, которые тебе и в голову не могли бы прийти – от строительства Новой Вавилонской Башни в Лужниках до проекта космической станции с изучением иврита в космосе... И знаешь, это даже познавательно, тебе и в профессиональном смысле пригодится – наблюдения над всеми этими еврейскими Кулибиными. Еще и роман какой-нибудь потом сбацишь... Ты изумишься – сколько идиотов приходится на одного здравомыслящего человека! Далее: каждый праздник начнется у тебя не с вечерней звезды, а со звонка Фиры Ватник, знаменитой нашей певицы Эсфирь Диамант – великая доярка, она каждый год собирает с коровы по имени Синдикат рекордный надой молока. Затем обязательно явятся гуськом Клара Тихонья с Саввой Белужным, – это общество «Узник», – и не отвертись, дашь, дашь на ежегодный торжественный Вечер Памяти, да еще и прослезись: тема такая – память шести миллионов убиенных... Только держи себя в руках и не швырни в нее, в Клару, чем-нибудь тяжелым, мда... ну и бесконечные сумасшедшие...

– Что – сумасшедшие? – упавшим голосом спросила я.

– А для тебя секрет, что евреи – сумасшедшие?

– Ну не все же...

– Все! – жестко отсек он, доедая последний кусочек торта. – Только каждый по-своему... Один Кручинер чего стоит. А вот, погоди, как пойдут к тебе писатели!словно баржи караванов поплывут из темноты. Колонна за колонной, батальон за батальоном повзводно, и у каждого в руках – папка с рукописью. К тебе не зарастет народная тропа... И каждый скажет: – «Вы должны меня понять, вы же сами немного пишете...»

Я разозлилась. Он явно брал меня на испуг, явно ревновал к своему кабинету, к своему насиженному ортопедическому креслу, которое, как сплетничали, он заказал себе специально для своего ишиаса, а тут я метила в него своей здоровой наглай задницей.

– Так что, – сухо спросила я, – во всей Москве уж и поговорить нынче не с кем?

– Ну почему же... Есть чертовски обаятельные люди! – Он оживился. – Ты, знаешь, держись научного мира. Там уж если встретишь чудака, так хоть знаешь, что это профессор, автор книг, умница и полиглот. А то, что он в бабочке и штанины задраны... так это от бедности. Ты им подкидывай на их конференции, рука дающего, знаешь...

– Расскажи-ка о моих непосредственных подчиненных, – попросила я.

– О, это – отдельная тема. Ну, пиши: Маша, секретарь. Девчонка вздорная, невоспитанная, нерадивая, всем хамит. К тому же дохлая, все время болеет, падает в обмороки. Уволь ее, к чертовой матери, я просто не успел...

Дальше: старуха Эльза Трофимовна, мониторинг прессы. Газеты прочитывает от корки до корки, глаз наострен на нашу тему, заметку вырежет, склеит, отошлет по факсу в Центр, напишет грамотный обзор прессы, но не требуй от нее большего ни на копейку. Это – лошадь, которая знает только одну борозду. К тому же имеет обыкновение выбрасывать или рвать сверхважные для Синдиката бумаги. За ней нужен глаз да глаз. Если утомит, уволь, к едрене фене.

Затем: Женя, сидит на сайте Синдиката. Собирает Базу данных. Говорят, гений компьютерного дизайна, но с большим приветом. Рыбок развела в отделе...

– В каком смысле?

– В смысле аквариум поставила... Кормит их, воду меняет, отсаживает мальков в баночку. Если тебе эти радости безразличны, уволь вместе с рыбками и Базой данных.

Дальше – Костян. Этот – толковый, умеет делать все: работает на ризографе, собирает брошюры, и потому на нем сидят верхом все департаменты. Однако склонен преувеличивать свое значение в истории еврейского народа. Время от времени требует повышения зарплаты – у него семья. Если станет зарываться, проучи: уволь!

Да, еще – наш департамент издает газету «Курьер Синдиката», ее делает Галина Шмак, баба совершенно чокнутая. Вообще, дело свое она знает, газета в срок выйдет, но вся штука – с чем? Все материалы надо проверять лично, иначе скандалу не оберешься. У нее даже и опечатки скандальные. В прошлом номере в слове «хай-тек» вместо «а» было пропущено «у». Учитывая нынешнюю ситуацию в Стране, – чистая правда, но не для нашего ведомственного издания, созданного для пропаганды и рекламы Страны и всего, что в ней ползает, плавает и летает... Вот где у меня сидят ее опечатки! – Он прижал ладонь почему-то к пояснице, где гнезвился застарелый его ишиас. – К тому же вечно она несетя, как полоумная, и на выражах может вышибить мозги себе и всем, с кем сталкивается. Если уж совсем взвоешь от ее штук, – уволь.

Ну и наконец, Рома Жмудяк, работничек тот еще...

– А уволить его нельзя? – с усталой готовностью спросила я.

Он вздохнул и сказал:

– Это женщина, сидит на рекламе. И вот ее-то, единственную, уволить не получится. Она жена Гройса... – посмотрев в мои не сморгнувшие глаза, он спросил с недоверием: – Ты что, о Гройсе не слышала? Не может быть, его знают все. В начале Бог сотворил Гройса, а тот уж наплодил кучу еврейских организаций – Потемкин удавился бы от зависти! Он крупный общественный деятель, очень влиятельное лицо. В Новой Еврейской истории исполнил роль Авраама. Помнишь? – «и размножу потомство твое как песку морского...». Ну, и Рома, разумеется, за его спиной. Главное, не пытайся заставить ее работать, она все равно ускользнет. В отпуск уйдет, заболеет, будет на дачу переезжать, потом с дачи – на квартиру, по утрам – в пробке застрянет... Хотя сначала производит впечатление энтузиастки любой вожжи под хвост. Это какой-то сплошной гудок порожней баржи. Замучаешься ее толкать. Бороться с ней бессмысленно, упрешься в Гройса. Да и не надо, ей-же Богу, в него упираться. Себе дороже.

Еще вот что: тебе понадобится изрядный срок, чтобы понять – какая собака где задирает лапу, и научиться не влипать в непонятку. Не приведи Господи, например, пригласить на торжественное открытие нашего мероприятия не нашего Главного раввина.

– Постой, а разве Главный раввин – не один?

– Зачем же, мы не бедные. В нашей истории всегда один раввин был другого круче, всегда дрались... Сейчас их в России трое. И каждый – Главный, вот в чем штука. Но *наш* Главный раввин, запомни – Манфред Григорьевич Колотушкин. Человек интеллигентный, милый, лояльный, Бог с ним совсем, карта битая. Сейчас к туфле допущен Козлоброд... Так вот, не страви их, поскольку Козлоброд *нашего* затопчет. Тот молодой, энергичный, и что немало важно – богатый. Бруклинская штука, варяг с пейсами. Есть еще один Главный раввин Рос-

сии, Мотя Гармидер, ковбой-щадист. Знаешь, этот милый американский вариант иудаизма – *Щадящий*. Мотя – он без претензий, славный парень. Танцует хорошо. Главное, заруби на носу: ты – человек прохожий, отбудешь срок и уедешь, а они со своими проблемами, склоками, конгрессами и раввинами... – все останутся.

– Но почему же непременно – все останутся? Ведь наша работа предусматривает хоть какой-то процент *восходящих* в год?

– Предусматривает, предусматривает... – он насмешливо покачал головой. – Когда еврея в каком-нибудь его Урюпинске рэкет прижмет, он обязательно *взойдет*, да что там – костром взовьется! Да только тебе что с того! Ты в Синдикате – белая кость, твой департамент на особом положении, ты не обязана выдавать статистику на-гора. Твои результаты туманны, общеукрепляющи, витаминны... Словом, брось думать об этой бюрократической чепухе! Живи в свое удовольствие. Запишись в бассейн, ходи в театры, домработницу найми... Синдикат башляет!

Он замолчал, нахмурился, несколько раз шевельнул губами, как бы прикидывая – стоит предупредить меня о чем-то важном или дать самой поколотиться о заборы... Наконец произнес:

– Слушай... Я понимаю, у тебя сейчас каша в голове, столько новой информации. Но если хочешь выйти из всей этой катавасии целой и вменяемой... запомни сейчас одно имя: Клещатик, Ной Рувимыч.

– Смешная фамилия...

– Да нет, не очень.

– А кто это?

Он опять подумал, как бы прикидывая ответ...

– Это трудно объяснить... Запомни сейчас, и все. И в дальнейшем, когда этот человек окажется рядом, или голос его зазвучит в телефонной трубке, или кто-то произнесет его имя, пусть все твои чувства, все мысли и все позывы твоего естества замрут и встанут дыбом.

– О, Господи! – воскликнула я, округляя глаза в комическом ужасе. – Да вернусь ли я живой из этого плаванья?!

(В ту минуту я даже не предполагала, насколько серьезно мой ангел-хранитель прислушивается к этой беседе, как надраивает свои боевые доспехи в преддверии горячей российской страды, чистит шлем, проветривает перышки на крыльях, как шаркает подошвами, проверяя устойчивость новых, только что выданных со склада, казенных штиблет).

– Ну, вот... Вроде, о главном я предупредил. Во всей той жизни, знаешь, бездна деталей и тонкостей, которые не поймешь, пока не влезешь в шкуру синдика и не отдубишь ее как следует. Так что приедешь, оглядишься... Разберешься – что к чему.

Он подозвал официанта, рассчитался, его добротный кожаный бумажник нырнул в нагрудный карман пиджака... А я, допивая последний глоток апельсинового сока, подумала – а действительно, а что: уволю, пожалуй, весь отдел, наберу молодых, энергичных, преданных мне ребят...

\* \* \*

...В первый же день, проходя по двору нашего садика, я заметила мальчика в шортах и в синей панамке, сидящего спиной ко мне на бортике пустой песочницы. Что-то он там искал, этот мальчик. Рядом на земле валялся самокат... Чей-то сын или внук, подумала я. И сразу он разогнулся, видимо, нашел, что потерял, выскочил из песочницы и, ведя самокат за рога, направился вместе со мной к входным дверям.

– Здравствуйте, – сказал он вежливо, открывая передо мной дверь. – С приездом!

– Здравствуй! – удивилась я. – А ты что, знаешь меня, мальчик?

– Я не мальчик, я – Женя, – терпеливо и, видимо, привычно проговорила она, снимая панамку. – Из вашего департамента. Сайт и база данных... – Она поймала мой ошарашенный взгляд на самокат и пояснила: – Я рядом здесь живу, на соседней улице. Очень удобно, знаете...

И пока мы поднимались на второй этаж, я узнала массу необходимых мне сведений: какую температуру надо поддерживать в аквариуме, чтобы гурами не передохли, и сколько раз в году надо менять воду... А люблю ли я собирать камушки на море – вот было бы здорово, если б я из Израиля привезла какие-нибудь красивые камушки для аквариума...

– Сколько вам лет, Женя? – спросила я осторожно.

– Двадцать пять, – сказала она, глядя на меня круглыми черными глазами и доверчиво прижимая панамку к груди.

Мы поднялись на второй этаж, причем, Женя забежала передо мной вперед на две-три ступеньки, привскакивая, пришаркивая, торопливо договаривая какие-то свои, совершенно детские новости; повернули налево, в узкий боковой коридор, повернули еще раз и оказались в небольшом отсеке, поделенном на три, вытянутые анфиладой, смежных комнаты, сейчас еще безлюдных. В первой, крошечной, стояли два стола с компьютерами, во второй – три стола, причем на одном пузатился небольшой аквариум, к которому Женя сразу приникла, что-то бормоча, приговаривая, сыпля щепоткой корм огненным меченосцам...

Это, как выяснилось, была приемная. Из нее открывалась дверь в кабинет начальника департамента, с огромным столом, двумя шкапами и действительно роскошным ортопедическим креслом, в которое я с детским восторгом плюхнулась и сильно крутанулась: дело в том – и это вторая интимная тайна, – что у меня никогда не было своего письменного стола и своего кресла, и я даже не стану здесь рассказывать – где и как были написаны десятка два моих книг.

Затем, вскочив, прикрыла дверь своего (своего!) кабинета и минут двадцать, пока комнаты оживали голосами моих подчиненных, в нервном напряжении болталась по комнате, касаясь руками предметов на столе, ручек шкафа, листьев полудохлого фикуса; поглядывая в окно, из которого прочитывался огромный рекламный щит: «Двойная запись – принцип бухучета!»

...Наконец, воссев в ортопедическом кресле, положила перед собой полный список сотрудников департамента и вытащила из сумки пудреницу. В зеркальце отразилось мое строгое начальственное лицо. Я запудрила тени под глазами и еще раз проглядела список: первой значилась Маша Аничкова, секретарь, против ее фамилии стоял мой приговор «уволить на хрен!!!»; набрала номер соседней комнаты, где сидели трое – Маша, Костян (мужик на хозяйстве) и Женя (сайт и база данных), и сухо, негромко сказала в трубку:

– Маша, будьте любезны, зайдите.

Она вошла и села. Было в ней что-то худосочное, нерешительное, жалкое. Бледная немочь, подумала я брезгливо, бледная немочь, а не секретарь департамента. Найму огонь-девку, чтоб щебетала, хватала намеки на лету, делала три дела зараз и вертела задом на все стороны.

– Если не ошибаюсь, вы, как секретарь, должны ввести меня в курс дела, – сказала я.

Она мгновенно как-то изжелта побледнела, тихо и тупо переспросила:

– Чего эт еще?.. – И стала медленно валиться набок, сосредоточенно глядя перед собой.

Я вскрикнула, вскочила, обежала стол и успела подхватить ее голову прежде, чем та стукнулась об пол.

Дверь распахнулась, влетели Женя и высокий, размашистый, сразу заполнивший весь кабинет, парень – наверное, Костян. Деловито приговаривая: «спокойненько-спокойненько-спокойненько...» – он подхватил Машу под мышки, Женя подняла ее ноги, и мы застряли так в дверях.

– Какого чер-р-рта нет дивана?! – прорычала я.

– Ничего-ничего-ничего... – скороговоркой сказал Костян, – вот, давайте, мы ее вот так посадим, а я ей в физиономию плюну... Она сейчас придет в себя, не беспокойтесь... – Он

набрал полный рот воды из пластиковой бутылки на столе и мощно прыснул Маше в лицо. Та вздрогнула и поникла.

– Понимаете... – шепотом сказала Женя, – это вечный недосып.

– Почему – недосып?

– Маша с мамой живет, та очень больна, онкология, химия, то, се... Еще она в университете на вечернем. И последнюю неделю страшно боялась.

– Чего боялась?

– Вас... – сказала Женя, потупившись. – Боялась, что вы ее уволите. А она кормилец семьи.

– Что за глупости! – рявкнула я. – Что за бредовые фантазии?

Маша между тем очнулась и беззвучно заплакала... На этом кончилось мое им «выкание». Надо было как-то управляться с этими детьми.

Я наклонилась к своему секретарю и строго отчеканила:

– Маша! Сейчас домой, спать. Завтра научишь меня, к кому здесь обращаться, чтобы купили диван.

В эту минуту позвонили. Я, еще не привыкнув к своему начальственному статусу, сняла трубку сама.

– ...и только попробуй бросить телефон!!! – заорали мне в ухо. – Я те брошу!!

– Что... что за странный тон, простите?

– Я те щас покажу «тон»! Издеваешься, сволочь?!

– ...позвольте... на каком основании...

– Молчать! Молчать, падла!!! Не хулиганить!!!

Я опустила трубку на рычаг. За мной с большим интересом следил весь департамент, сгрудившийся у моего стола. Все, кого я собиралась уволить на хрен.

– Это Кручинер, – наконец проговорил Костян сочувственно, – вероятно, у него сезонное обострение.

Телефон звонил, не переставая. Костян сказал, что тот все равно не отстанет, есть только один верный способ. Поднял трубку и кротко спросил:

– Ефим Наумыч? Да-да... Это наш новый начальник... Хорошо... Обязательно! Вы правы... Непременно... Я уже уволил ее, на хрен. Вот, пока вы звонили.

– Что это?! – спросила я, когда обрела дар речи. – Что он тебе говорил?!

– Как обычно... Сказал, что Синдикат – сборище жидовских негодяев, что он сотрет нас с лица земли, что вас он раздавит, как мошку, что из-за нас у него протекает кондиционер...

– ...но?!!

– Ну, это же Кручинер...

*Microsoft Word, рабочий стол, панка rossia, файл sindikat*

«...Как я люблю профессионалов, мастеров любого дела! Причем с равным благоговением отношусь к мастеру-парикмахеру, мастеру-портному, мастеру-сантехнику, мастеру-писателю, мастеру-музыканту. С мастерами всегда чувствуешь себя защищенным и счастливым. Вот Костян – нет такой задачи, которую он не смог бы решить, нет такой розетки, в которую не смог бы включить все, что должно в нее включаться. Нет такого прибора, который бы в его присутствии не вытягивался во фронт, и ревностно не исполнял свои функции наилучшим образом. Порой я просто позову его в кабинет и только затыкну неопределенное: – А что, Костян, хорошо бы... – как он уже записывает в свой блокнотик план, расставляет приоритеты и – умчался исполнять. Знает бездну вещей, осведомлен о таких деталях и частностях здешнего бытования, о которых я никогда не задумывалась. Он весь длинный, ножищи огромные,

лапищи огромные, походка землемера, умен, востер, экономен и хозяйственен, словно синдикатовское добро достанется его малышам в наследство. Малышей у него двое – сыновья-погодки. Словом, при Костяне я чувствую себя, как кенгуренок в сумке у заботливой мамы.

Величайшим мастером оказалась и Маша, мой секретарь, – та самая, что умудряется грубить, одновременно падая в обморок. Она умеет считать!!! В уме! Не доставая калькулятора! Я с огромным облегчением немедленно отдала ей на откуп всё, столь утрашавшее меня делопроизводство департамента, и теперь, когда она появляется в кабинете – строгая и нелицеприятная, с пачкой каких-то бумаг для бухгалтерии на подпись, – и я говорю с досадой: – Маша, у меня такая легкая роспись, ее так легко подделать, неужели надо морочить мне голову с каждой бумажкой!

Она отвечает без улыбки: – Как вам не стыдно, Дина, ведь это подлог! – и я покорно подписываю бесчисленные и загадочные для меня акты, договора и накладные.

Женя – тоже мастер, в еще более таинственной для меня области. Она повелитель сакральных долин, компьютерных леса и дола, видений полных, пещеры сорока разбойников, проникнуть в которую простому смертному вроде меня невозможно. «Сезам, откройся!» – восклицает она каждое утро, вернее, щелкает мышкой, пролетает детскими своими пальчиками по клавишам – и на экран екомпьютера всплывают имена и фамилии. О, ба-а-а-за да-а-анны-их! – поется на мотив неаполитанской песни. Таинственная и недоступная для других организаций база данных Синдиката.

Работая, Женя то и дело выкрикивает фамилии, словно достает диковинные заморские товары из своих закромов – персидские шали, меха, пряности, благовония, медную посуду, украшения и венецианские ткани:

– Арнольд Низота! Фома Гарбункер! Феня Наконечник! Богдан Мудрак!

Все хором кричат: «Не может быть!!!» Женя говорит: «Пожалуйста, убедитесь». Все бросаются к экрану ее компьютера, пожалуйста, – убеждаются...

Каждая еврейская организация, даже новорожденная, даже и вовсе неимущая, считает для себя обязательным сколотить свою собственную базу данных. Причем в каждой организации подозревают, что у конкурента база данных полнее, евреи отборнее, крупнее, без червоточин. «А у УЕБа – больше!» – орет Костян, который развозит тираж нашей газеты по всем организациям Москвы, собирает сплетни отовсюду и потому считается у нас лицом осведомленным. Так вот, у УЕБа – больше. Эта не совсем приличная аббревиатура означает – Управление Еврейской Благотворительностью, – организация, тоже финансируемая американскими спонсорами. УЕБ – наш главный конкурент и идейный противник. Мы здесь – для того, чтобы вывозить евреев из России. Они – для того, чтобы развивать и поддерживать здесь общинную жизнь. (Кстати, средства на эти столь разные цели могут идти – такая вот еврейская метафизика – из одного, вполне конкретного кармана вполне конкретного чикагского мистера Aharon. K.Gurvitch.)

И еще о мастерах. Эльза Трофимовна, бесшумная старуха кротости необычайной, – тоже мастер. В течение каждого утра она проглатывает толстенную кипу газет. Однажды мне даже приснилось, как бодро хрумкая газетными страницами, она прожевывает гигантские комки, так что видно, как

трудно они проходят по горлу, и, преданно вытаращив глаза, запивает их чаем. Огромную толщу прессы прочесывает она в поисках еврейской темы, и часам к 12 дня вырезанные и отсканованные статьи уже отправлены по факсу в Иерусалим, в Аналитический департамент, а копии лежат по кабинетам на столах у Клары, у меня и у вечно поддатого Петюни Гурвица, который никогда ничего не читает.

Кроме того, Эльза Трофимовна составляет еженедельные обзоры по материалам российских СМИ. И это мастерски сделанные обзоры – на зависть краткие, точные, емкие. Во всем остальном Эльза Трофимовна беспомощна и – не побоюсь этого слова – абсолютно бессознательна. Поручить ей ничего нельзя. Она забывает первое слово, едва выслушав последнее. Напрягается, переживает, трепещет, подобострастно вытаращивается. Наконец, уходит, возвращается, извиняется и переспрашивает адрес – куда идти, имя – к кому обратиться, суть поручения. Уходит... Возвращается с проходной или уже от метро и опять переспрашивает... Наконец, уходит с Богом, приходит не туда, ни с кем не встречается, ничего не приносит, возвращается ни с чем, убитая, истовая, готовая снова идти куда пошлют. Первое время я подозревала, что она делает это нарочно, чтобы начальству невольно было держать ее на посылках, потом заподозрила, что ее обзоры пишет не она. Убедилась: она. Я просто видела, как она их пишет – как крот, роющий в земле свою нору. Пригнув голову к столу, ровно и безостановочно буравя ручкой бумагу...

Наконец я оставила ее в покое и только продолжаю восхищаться профессионализмом ее работы. И все бы ничего, кабы не одно ее опаснейшее свойство: с утра Эльза Трофимовна имеет обыкновение выбрасывать в мусорное ведро какую-нибудь ненужную бумажонку, которая ко второй половине дня оказывается жизненно важной, хранящей какой-нибудь особый телефон или секретное сообщение. Тогда ведро переворачивается, и весь отдел принимается среди мусора искать нужную бумагу. Хорошо, если Эльза Трофимовна не успела порвать ее на мелкие куски. Если же это случилось, то нередко я – выйдя из кабинета или возвращаясь от начальства – обнаруживаю весь отдел на карачках. Оттопырив зады, мои подчиненные старательно складывают на полу сакральный пазл из кусочков бумаги...

Сторожевого бдения требует и газета, выпускаемая Галиной Шмак, еще одним Мастером нашего департамента. Наш славный «Курьер Синдиката» – ведомственный орган, со всеми вытекающими из этого факта фанфарами, трубами и валторнами в честь родины чудесной. Нет, ничего лживого – Боже упаси! – и ничего верноподданного, но «звон победы, раздавайся» звучит чаще, чем иные звуки застарелой битвы.

Галина Шмак – ответственный секретарь газеты, и эта должность ей подходит как раз потому, что ее хочется привлечь к ответственности ежедневно. Со временем я выяснила, к немалому своему изумлению, что попутно она шлепает газетку «Еврейское сердце» – УЕБу, редактирует журнал «В начале сотворил...», издаваемый на деньги Залмана Козлоброда, стряпает информационный листок «Наша Катастрофа» – обществу «Узник»... и, кажется, что-то кому-то еще, нет сил вспоминать. Все это готовится, крутится, варганится у нее на дому, в маленькой квартире у метро «Кантемировская». Новая квартира уже куплена, но в ней идет ремонт. Заканчивается... или должен вот-вот начаться.

Но главной, основной своей работой Галина, конечно, считает наш «Курьер Синдиката». Деньги на него вывалены немалые, начальство не мелочится. Газета выходит на хорошей бумаге, на шестнадцати, а иногда и двадцати четырех полосах. В нее пишут лучшие, вышедшие на пенсию перья. Ежедневно почта доставляет десятки писем от преданных читателей, на которые я сначала отвечала в колонке главного редактора, но постепенно угасла, присыпанная пеплом и лавой общественной жизни...

Галина появляется всегда в бравурном сопровождении вступительных тактов к «Куплетам Тореадора» из оперы «Кармен». Это позывные ее мобильного телефона, который звонит беспрестанно. Торжественная поступь марша раздирает кулисы, предвещает ее появление, летит за ней по коридорам, гремит из сумки, бряцает в карманах, рокошет на груди, ежеминутно, посреди разговора, оглушая вас оркестровым tutti...

Может быть, из-за этого постоянно звучащего марша Галина и сама представляется мне матадором, вертящим мулету вокруг оси собственного тела. Она влетает в мой кабинет, как тореадор, готовый к встрече с разъяренным быком. Я, как правило, и вправду разъярена очередным скандалом, и точно бык, в начале боя уверена в своей силе и правоте. Но в этих корридах и меня ждет участь измотанного бесконечными увертками, утыканного бандерильями и затравленного уколами пикадоров быка.

– Галина, будьте любезны, объясните, пожалуйста, каким образом интервью с...

– Да это вообще полный кошмар когда я говорила чтобы не лезть а Машка звонит и звонит и наконец дозвонилась да кто же знал что это его бывшая жена вот она и выместила ну он и грозитя теперь вот склочник заладил суд да суд да иди ты с этим судом куда подальше хорошо что хоть Алешка уперся и ни в какую фото давать да оно и не качественное а то типография вы же ж знаете там же одни бараны а у меня назавтра плиточки заказаны и лиловую не нашли прямо беда так хрен с ней пусть будет голубая...

Все это сопровождается победными фанфарами марша. Словом, минут через пять вялая туша забитого быка валится в кресло, и Маша устремляется ко мне с чашкой крепкого чая или кофе, а Галина уже несется по коридору, выхватывая из кармана гремящий литаврами мобильник и воодушевленно вопя в него: – Зачем это под орех зачем это под орех когда я просила под вишню и чтобы не после обеда а до иначе верстку не успеем сдать?!

...Однако во всем Синдикате, по всем департаментам не найти другого такого Мастера, как Рома Жмудяк.

Это какой-то виртуоз намыливания. Высочайшая способность выскальзывания из рук. Иногда в разборках с нею я сама себе кажусь голой в бане: зажмурившись (пена ест глаза), ты шарить ладонью по мокрой полке, пытаешься ухватить обмылок, а его нет как нет... Вот пальцы касаются его гладкого скользкого бока – куда там! – он летит на пол, под скамью, к дверям, в предбанник... Можно, конечно, сослепу выскочить вдогонку за дверь, но это лишь значит – выставить на всеобщую потеху свою голую задницу. Поэтому лучше окатить себя холодной водой из шайки, протереть глаза и действовать уже с открытыми глазами, предварительно вытершись насухо. Странно, что общение с Ромой всегда как-то связано у меня с образом бани, с образом пены, что ползет из шайки со слишком большим количеством шампуня...

На первом же собранном мною совещании департамента – то есть кучковании в моем кабинете всех моих служивых – она прерывала меня на каждом слове, добиваясь подробных немедленных разъяснений: для чего затеяно данное мероприятие, что дает Синдикату, и главное – *кому адресовано*. Она вообще великолепно владеет всем этим мыльным языком функционеров всех времен, мастей и народов. Ясно, что прошла не только школу, но и академию Гройса.

Помнится, дело касалось в тот раз организации невинного концерта израильских исполнителей: распространения билетов, обзванивания публики и прочей незатейливой работенки.

Сначала я пыталась отвечать, искала нужные слова и объяснения, пока не поняла, что Рома занимается саботажем, одновременно нащупывая пределы моего терпения.

– Нет, – напирала она, – все-таки я так и не поняла: *кому адресован* этот концерт, который вы затеваете?

– Вам, – сказала я приветливо, подавляя сильнейшее желание запустить в нее любым предметом со своего стола. – Исключительно вам, Рома... А теперь возьмите, дорогая, бумагу и ручку и запишите, что вы должны сделать к завтрашнему дню.

Она взяла бумагу и ручку. С этой минуты я поняла, что мы сработаемся при известной моей сдержанности и постоянных усилиях – толкать эту баржу.

...Бывает, с самого утра уже видно: Рома намыливается... Откуда видно? Не знаю, по глазам, вероятно. У нее намерения ясно выражены во взгляде, в движениях, в походке. Ей просто незачем их скрывать. Своей неподотчетностью она напоминает мне иерусалимских кошек. Те тоже никого не боятся, ни на кого не оглядываются и идут по своим делам, никого не спросясь. Нет, Рома, конечно, соблюдает минимальный этикет – все-таки я начальник департамента. С утра, опоздав минут на сорок, она заваливается в мой кабинет своей походочкой и, подмигивая, говорит что-нибудь вроде:

– Да, хотела предупредить: сегодня у меня с часу Кикабидзе. Вам бы тоже хорошо его попользовать, мужик грандиозный...

Пока я разбираюсь, что это другой Кикабидзе, не певец, а знаменитый иглотерапевт, который остеохондроз ее рукой снимает не в переносном, а в буквальном смысле... пока то да се, прерываемое безостановочными звонками и посетителями... Рома уже усвистала, причем почему-то на три дня. То ли остеохондроз такой негибачаемый, то ли Кикабидзе так добросовестно лечит...

Однако я пока терплю. Не потому, что ее супруг, великий и ужасный Гройс, внушает мне какое-то особое почтение или опаску, а потому что в критические моменты Рома бывает весьма полезна. Именно она, в силу своей семейной осведомленности, может кратчайшим путем провести тебя по запутанным тропинкам этого особого мира и намекнуть: где какая собака лапу задирает...»

\* \* \*

*Из «Базы данных обращений в Синдикат».  
Департамент Фенечек-Тусовок.*

*Обращение номер 653:*

*Прокуренный мужской голос:*

*– Я вот не знаю, к кому у вас – жаловаться... Я вывез в Израиль первую жену, да, там разошелся, вернулся в Россию – по любви... Вывез вторую жену. Но не сжились мы, бывает же, я разошелся, да, опять вернулся, женился в третий раз, вывез третью жену... ну, не сошлось у нас, не вышло! Ну, может человек в поиске быть?! Я теперь настоящую любовь встретил, опять в России! А ваша чиновница оскорбляет меня, говорит – «вы человек или такси?» и называет этим... сейчас вспомню... вот: «Паром-Харон»... Блядь!*

## Глава 5. Яша Сокол – король комиксов

Яша Сокол, известный в Москве карикатурист, женился поздно и случайно, по пьянке. Был он обаятельным, носатым, рыжим и крапчатым, как мустанг техасского ковбоя.

На сломе восьмидесятых знакомый менеджер одного из американских журналов предложил ему рисовать комиксы к незамысловатым историям из перестроечной российской действительности. Яша попробовал, дело пошло, появились деньжата... Постепенно он стал замечать, что в наезженные колеи комиксов отлично укладываются сюжеты великих книг; да что там книги! – вся наша жизнь, с ее страстями, драмами, пылкими и робкими движениями души, как-то удобно укладывается в ряды картинок, в сжатый конспект-обрубок... а большего она, по чести сказать, и не заслуживает.

Сам того не замечая, он рисовал и рисовал, заталкивая жизнь в гармошку комиксов – на ресторанных салфетках, автобусных проездных, листках из блокнота, газетных полях... Ему удавалось сократить диалоги до отрывистых реплик-слов, был он изобретателен, умен, наблюдателен... и явно одарен литературно.

На одной из гулянок к Яше прибилась девчужка, лица которой он дней пять не различал, именем не интересовался, подзывал ее, как собачонку, свистом или щелканьем пальцев. Зато, как выяснилось, все дни жесточайшего запоя рисовал. Впоследствии именно эти рисунки, на которых она – всклокоченный мультипликационный воробей в серии беспрерывно изменявшихся ракурсов – орет, подмигивает, пьет из бутылки пиво, косит глазом, грозит кулаком и сквернословит, – именно эти рисунки стали для их детей вереницей иконок, вставленных в маленькие рамки.

Когда запой прошел, Яша не стал гнать от себя смешного гнома с крупной головой и носом-картошкой. В то время снимал он в Сокольниках мансарду под мастерскую, там прямо и жил. Девчужка осталась при нем. Он по-прежнему почти не обращал на нее внимания, но жизнь его как-то повеселела, появились чистые сорочки, старый кухонный стол под скошенным потолком незаметно оказался накрыт клеенкой, на нем откуда-то возникли кастрюли, а в кастрюлях то и дело обнаруживались то каша, то картошка, а то и борщ...

И вдруг она родила близнецов! Двух одинаковых семимесячных девочек, каждую по кило весом. Яша оказался изумлен, озадачен. То ли он вообще не обращал на нее внимания, то ли она забыла обрадовать его предстоящим отцовством, то ли сама не придавала значения растущему животу. Словом, для Яши это событие стало совершенным сюрпризом.

Он отрезвел, огляделся, всмотрелся в два одинаковых сморщенных тельца... Неожиданно дети ему как-то... глянулись. Может, потому, что напоминали персонажей комиксов. Они выдували пузыри, в которые хотелось вписать булькающие слоги. Кроме того, солидное их число (двое) вызывало у него почтительный трепет. В одночасье из гуляки праздного, забулдыги и хорошо зарабатывающего оборванца Яша превратился в отца семейства.

Дети отлично вписались в комиковую, чердачно-богемную жизнь, но требовали все больше любви, времени, ласки и любования. К Мане, с которой он к тому времени расписался (все тот же синдром возникшего на пустом месте семейства – численность детей!), он по-прежнему относился спокойно, снисходительно-равнодушно. Позволял ей кормить детей выросшими вдруг полными грудями. А вот купать их, менять подгузники, вставать ночью – как-то не доверял. Все-таки была Маня шебутной, балахманной девчонкой. Она и погибла вот так-то, сдуру, на спор, тем первым дачным летом, когда они вывезли детей *на воздух*. Поспорила на перроне с местной ребятней, что проскочит перед электричкой за минуту до...

...и не проскочила.

Широкую двухместную коляску с мирно спящими близнецами прикатили Яше со станции обезумевшие от страха спорщики.

Он рубил на хозяйском участке старую высохшую яблоню.

Коляска с близнецами сама бойко всплыла на дорожку, подростки выкрикнули из-за забора: – Дядь Яш!!! Там Маню электричкой зарезало!!!

Он размахнулся и последним страшным ударом топора снес старую яблоню напрочь.

Впоследствии много раз он рисовал, как зачарованный, череду картинок этого дня, реконструируя его по минутам – так археологи восстанавливают утерянные фрагменты прошлого. И с год после ее гибели, запряженный гончей тоской, был занят восстановлением образа Мани: разыскивал ее школьных друзей, нашел бабушку где-то под Волоколамском – короче, знакомился, наконец, со своей женой поближе...

В это время многие друзья стали валить в Израиль. Яша провожал, помогал паковать ящики, отправлять контейнеры, ругаться с таможней. От этих дней тоже осталась серия комиксов... Когда уехал Воля Брудер, сокурсник и лучший друг, Яша задумался. Брудер звал Яшу все сильнее, все горячее, обещал помощь, а главное – слал фотографии с пальмами, какими-то буйно-лиловыми кустами, блестящим синим морем, в котором столбиками, как суслики, стояли чудосочные и счастливые Волины дети...

...Вообще-то Яша Сокол был не вполне евреем. Можно даже сказать, он им и вовсе не был в том смысле, в каком это понимает традиция. В детстве, правда, был у него любимый дедушка Миня, который гулял с ним, рассказывал о тайге, о повадках волков и лис, о том, как в лесу по деревьям определять направление север-юг, как долго прожить без еды и какая ягода помогает при цинге, и как не замерзнуть зимой. Дедушка Миня не был ни ботаником, ни туристом, наоборот, – он был знаменитым закройщиком мужской одежды в ателье Союза советских писателей. Просто в молодости семнадцать лет провел на лесоповале и дважды находился в бегах в тайге. С дедушкой Миней было так захватывающе интересно, что когда тот умер от сердечной недостаточности, десятилетний Яшка высох от любви и тоски по нему, как только в юности сохнут по возлюбленным.

Так вот, дедушка Миня, по неясным слухам, был как раз еврей, но, поскольку ни разу он об этом не обмолвился – а может, Яшку это в детстве не интересовало, – образ Мини, такой родной и главный, совсем не монтировался с этим коротким, чужим, почему-то неловким словом.

Лет с шестнадцати в Яше забродил беспокойный дух. В конце мая он брал рюкзак (пара белья, две майки, блокноты и ручки) и подавался куда-нибудь на юг – в Сочи, Гагры, Сухуми...

В Сухуми, в парке, на скамейке он и увидел дедушку Миню. И – оторопел от неожиданного спазма тоски, который подкатил к горлу, словно и не прошло много лет со дня смерти деда. Тот сидел на скамейке и грелся на солнышке – старый вислоносый человек со старческими пятнами на руках и лице, в чистых старых брюках, в полотняной кепке с длинным козырьком. Яшка присел рядом, что-то спросил, старик живо отозвался, они разговорились. Тот и разговаривал, как дедушка Миня, с мягким украинским «г», наверное, тоже был уроженцем какого-нибудь Киева или Одессы.

Посреди оживленной беседы растроганный Яша, непонятно почему, – возможно, потому, что вспомнил вдруг о еврейской исходной деда, – спросил, понизив голос:

– Скажите... а евреев здесь много?

Тот сначала запнулся, внимательно и долго смотрел на Яшу и, наконец, сказал:

– Да, знаете, их много еще... Много их... А куда деваться? Сейчас ведь не те времена, когда...

И вдруг стал рассказывать, как в молодости, во время войны на Украине попал в облаву вместе с евреями. При нем не было документов, и хоть убей, он не мог доказать, что он не

еврей, пока не догадался расстегнуть штаны. Так его не только освободили, но и предложили работу. Он стал сопровождать машины с евреями.

– Сопровождать? – спросил Яша. – Куда?

– Ну, куда... Туда! В этих машинах они и дошли... Прямо там и начинал действовать газ... Вот, вы не поверите! – оживился он, – до чего хитрый же народ! Были такие, кто снимал рубашки, кофты, мочились в них и заворачивали лицо, и выживали, только притворялись мертвыми! Так я, знаете, всегда угадывал – кто живой и прикидывается, и сразу добивал. Ох, у меня глаз был – не отвертишься, не уползешь!

– ...После войны его судили за пособничество немцам, – рассказывал мне Яша, – он честно отсидел полный срок, освободился и переехал в Сухуми, поближе к теплу, к солнышку. Погреться напоследок.

– И ты не задушил его? – с интересом спросила я. – Сдавить легонько горло, старичок-то ветхий, секунда, и...

– Да нет, – поморщился Яша. – Я был настолько потрясен его сходством с дедушкой Миней и дьявольски вывороченной судьбой, что просто молча поднялся и пошел от него прочь. Понимаешь? Сел на скамейку неким пареньком, а поднялся законченным евреем. И никакого тебе Синдиката, никакого специального курса по *Загрузке Ментальности*.

...так вот, Воля Брудер слал карточки из своего Израиля с таким зовущим морем, таким синим, искристым, *детским* морем...

После того как дочери дважды за зиму переболели воспалением легких, Яша решил на переезд.

Эта фотография – сходящего по трапу художника с мольбертом за плечом и двумя трехлетними, совершенно одинаковыми девочками на руках – обошла все израильские газеты.

В Стране Яша перепробовал все. Работал охранником в супермаркете, таскал на заводе ящики с бутылками «кока-колы», окончил курсы компьютерных графиков, немного поработал в рекламных агентствах. И все время публиковал комиксы в русских печатных изданиях. Наконец, на эти комиксы обратили внимание в ивритской прессе... Ему предложили более или менее постоянную работу в одной из ведущих израильских газет. Так он узнал разницу в гонорарах. Словом, Яша выплыл, глотнул воздуха, огляделся... За год он купил машину и, взяв ссуду в банке, купил квартиру на живописных задворках Хайфы. Жизнь начинала нравиться. Значит, надо было ее немедленно менять.

Все складывалось очень кстати даже и в домашнем смысле. Дочери Надька и Янка (он произносил их имена всегда слитно, как «Летка-Енка», и называл «мои голодранки», «мои паразитки», «мои террористки») пугали его своей растущей самостоятельностью. Пятнадцатилетние паразитки были совершенно самодостаточными личностями, чемпионками Израиля по игре в бридж.

Они были похожи так, как могут быть похожи только классические однойцевые близнецы, рожденные с разницей в пятнадцать минут. В детстве видели одни и те же сны, и просыпаясь, просили отца рассказать окончание, – очень удивлялись, узнав, что не всем людям снятся одинаковые сны. Если шли, огибая дерево с разных сторон, и одна спотыкалась, то одновременно с ней спотыкалась другая. Они были связаны друг с другом таинственной и страшной физической зависимостью. Спали в одной постели, всегда на одном и том же боку. Одновременно вздыхали во сне, одновременно медленно, как в синхронном плавании, поворачивались на другой бок, не просыпаясь.

Яша был заботливым отцом, он следил, чтобы девочки хорошо ели.

– Душа моя, – говорил Яша дочерям за столом, то одной, то другой – ешь, душа... – И подкладывал на тарелки кусочки.

Он был заботливым отцом, но не вездесущим. Однажды во время генеральной весенней уборки обнаружил под кроватью своих амазонок батарею бутылок из-под пива и понял, что наступило время больших перелетов.

По совету Воли Брудера он позвонил одному человеку, сидящему в Синдикате в департаменте *Кадровой политики*. Его пригласили на собеседование, которое он выдержал с блеском, демонстрируя «качества настоящего лидера» и «прекрасное владение ивритом»... Заполнил анкету с довольно странными вопросами, типа: «Верите ли вы в явление Машиаха?» «Чувствуете ли вы в себе задатки мазохиста?» «Не возникало ли у вас когда-нибудь желания поменять пол?»... Затем сдал труднейший восьмичасовой тест с весьма внушительными результатами, поступил на курсы синдиков... А там уж не успел оглянуться, как подкатил август – время «икс», месяц, когда Синдикат меняет часовых и вновь призванные синдикаты пакуют чемоданы.

Как особо отличившемуся на курсах, ему предложили право выбора города. Из-за детей он выбрал Москву, – только там при Посольстве работала израильская школа, где девочки могли нормально учиться. Однако он недооценил самостоятельность своих голодранок. И не то чтобы они совсем не учились. Нет, природные способности и ненатужная программа израильской школы позволяли им держаться на плаву. Но в первый же месяц они разыскали бридж-клуб где-то на Серпуховском или Коровьем валу, завели новые увлекательные знакомства в самых разных кругах столицы и зажили такой наполненной, такой загадочной неуловимой жизнью, что озадаченный и закрученный новой работой отец лишь посвистывал и головой качал...

*Microsoft Word, рабочий стол, панка rossia, файл синдикат*

«...у дочери в новой школе – настоящая математическая драма: строгий учитель. «Мама, он никому не ставит высокой оценки, никому! Кроме соколий, конечно». – «Кроме кого?» – «Ну, Янки и Надьки Сокол»... – «Видишь, значит, если девочки стараются...» Она возмущенно: «Ну, ты скажешь тоже! Они, наоборот, ни черта не стараются! Просто они – математические гении!» – «Прямо так уж и гении!»... – «Конечно, гении, самые настоящие! И учитель говорит, что они – уникальное явление природы. Знаешь, как они считают в уме?! Это просто цирк! Они даже угадывают логическое продолжение задачи! Он еще пишет на доске условия, а они уже хором говорят ответ!»

Надо бы полюбопытствовать у Яши – что за двойное уникальное явление природы он вырастил без женского глаза... Вообще, эта школа при израильском Посольстве – тоже уникальное явление: детей во всех классах, если не ошибаюсь, – всего человек сорок. У дочери в классе – семь человек. Это сплоченная семья, со своими напряженными отношениями, с постоянными разбирательствами, интригами, дружбами, любовями, враждами... Например, *моя* притягивает с Яшиными девочками, хотя те на два класса старше. Все вместе сплочены против внешнего мира своим израильским самосознанием («Здесь, в России, все чокнутые!»).

Кстати, в первый же день обустройства в новой квартире Ева вытащила из своего рюкзака бесформенную кучу бело-голубого тряпья.

– Что это?!

– Наш флаг! – тон упрямый, угрюмо-гордый. – Знаешь откуда? С кнессета!

– Что?! Ты с ума сошла?!

– Да, да! Мне Михаль одолжила *на Россию*. У нее дядька – завхоз в кнессете. А это флаг старый, списанный... Он выцвел, конечно, и немного дырявый, но я заштопала.

– И где же мы его вывесим в Спасоналивковском переулке? – бессильно осведомилась я.

– Нигде. Буду им укрываться.

– Что?!

– Укрываться! – отрезала она тоном, исключаящим продолжение учтивой беседы.

Тем не менее, глаза шныряют по сторонам, старшеклассники по пятницам собираются в «Шеш-Беш» – забегаловке на Ордынке... Все уже совершили по несколько экспедиций на Горбушку, понакупили дешевых дисков и кассет. Вообще потрясены и подавлены «дистанциями огромного размера»... Я, кстати, тоже – после десяти лет отсутствия – до известной степени потрясена и подавлена этими дистанциями.

...Любопытно наблюдать за собой, за изменениями в отношениях с Россией. Вчера мы говорили на эту тему с Яшей Соколом. У него – художника, человека впечатлительного, – свои счеты с родиной. Рассказал, как в восьмидесятых годах у себя в Подольске стал свидетелем сцены, забыть которую не смог никогда.

Это было время, когда в Подольский госпиталь привозили тяжелых раненых из Афганистана... Их оперировали, ампутировали конечности, многие ребята просто оставались обрубками – без ног, с одной рукой. Потом долго они приходили в себя, учились выживать, как-то справляться с бесконечной тоской...

Однажды несколько этих ребят нашли себе девочек и пригласили в кино. Как только они выкатились в своих колясках за ворота госпиталя, – откуда ни возьмись, появился наряд милиции и стал загонять их обратно. Сначала они удивились, шутили, говорили – вы что, братаны, мы же не в тюрьме, вот, с девушками в кино впервые выбрались, фильм хотим посмотреть...

Но те – видно, у них был приказ, – стали напирать, загоняя калек обратно в ворота. Стране нельзя было показывать уродства войны.

И тогда раненые бросились в рукопашный бой. Они дрались костылями и палками ожесточенно, яростно... Драка была в самом разгаре, когда прикатил вызванный взвод солдат на грузовике, те набросились на калек, покидали их в кузов вместе с костылями, колясками, палками и куда-то повезли...

И пока он рассказывал, я вдруг поняла, – что меня мучило все эти годы. Я пыталась определить и обозначить словами разницу в душевном моем осязании двух моих стран – Израиля и России. Вся моя жизнь в Израиле, предметы, пространство и люди – все, что меня окружает там, – была и есть ослепительная сиюминутная реальность. Все, что было со мной в России, что происходит сейчас и будет когда-либо происходить, – все это сон, со всеми сопутствующими сну приметам.

И между прочим, я опять стала видеть сны – а ведь в последние годы засыпала и мгновенно просыпалась утром, готовая начать день с того места, на котором остановился для меня вечер. Опять стали сниться давно умершие люди, приносящие в сон забытые обстоятельства своих жизней. События дня и новые лица странно тасуются в моих нынешних снах с уплывшими в прошлое людьми и разговорами, словно российское, лунное полушарие моей жизни (прежде заслоненное ослепительным светом Израиля) зашевелилось, подтаяло, побежало мутными ручейками...

И еще: никогда не могла понять психологии двоеженцев. И только когда вернулась в Россию и стала снова с нею жить, поняла: ты любишь в данный момент ту, которая перед глазами, но думаешь о той, которой рядом нет...»

## Глава 6. Будни спонсора

Между тем, я огляделась...

Да, мой предшественник говорил чистую правду: уже явились ко мне несколько писателей с объемистыми рукописями, уже выросли на моем столе две башни из папок с революционными проектами. Уже потянулись вереницей странные субъекты с бегающими глазами и более чем дикими идеями...

Я уже выдержала первую, пробную атаку Клары Тихонькой, знаменосца и идеолога общественного фонда «Узник». (Остроумный Яша каждый раз переименовывал этот фонд то в «Хроник», то в «Циник», то в «Гомик»...)

Она и выступала, как знаменосец, откидывая голову с высоким седым коком волос над открытым лбом Савонаролы, и голосом, поставленным и ограненным неисчислимыми собраниями, заседаниями, комитетами, протоколами и голосованиями, – вопрошала, требовала, взывала и обличала. За ней крался Савва Белужный на мягких лапах. Пара была классической, из старинных площадных комедий. И работали они парой: Клара нападала, обвиняла, вымогала, Савва – стеснительно улыбаясь – перечислял отборные проекты общества «Узник». Я, как профессиональный музыкант, сразу оценила этот безупречный дуэт.

Ключевым словом в их торгах было слово «катастрофа», причем в самых разных регистрах.

– Если мы не соберем нужной суммы на проведение этого семинара, это станет настоящей катастрофой для будущего российских школьников! – торжественно провозглашала Тихонькая.

– Катастрофу, и еще раз Катастрофу, и тысячу раз – Катастрофу должны мы поставить во главу угла на уроках истории, – проникновенно вел Савва свою партию.

– Вчера весь день занималась Катастрофой... Все на мне, все на мне. Вы не представляете, как я устала!

Уже и несравненная Эсфирь Диамант прислала несколько видеокассет со своими концертами. Эта работала грубо, как водопроводчик.

– Люблю-у-у! – говорила она стонущим голосом. – Все ваши книги люблю, и все! Нет сил, плачу, рыдаю, и все! Подарите мне книжку, умоляю! Любой из ваших романов! Мне тут давали читать на ночь – я хохотала, как дикая! Нет сил, – хохочу, и все! Подарите, солнце, – как раз на концерте, что мы с вашей помощью проведем в зале «Россия» за плевые тыщ двадцать баксов... Я посвящу вам песню! Прямо со сцены. Вы знаете мою песню «Скажи мне душевное слово»? Нет?! О, я подарю вам диск, будете слушать и обливаться слезами!

Фира Ватник, сама себе менеджер своей раззудись-карьеры, давая интервью, никогда не забывала упомянуть, что в семидесятих годах боролась за выезд, сидела «в отказе», пострадала за *отпусти народ мой*. Странно, что ни один интервьюер сейчас не догадывался задать столь естественный вопрос: – И вот, ныне, когда каждый, кто стремился уехать, может осуществить свою мечту?! – недогадливый народ интервьюеры или слишком деликатный.

Самое поразительное, что и *дуэту о Катастрофе*, и *душевному слову* я обещала денег. Вернее, обнаружила, что обещала, – когда осталась одна. И поняла, что переносу на этих людей те мои привычки и принципы, коими руководствуюсь в частной жизни. Мой дед всегда говорил мне: если человек просит, надо дать.

Поэтому я никогда не отворачиваюсь от нищих, от уличных музыкантов, не отказываю агентам всевозможных благотворительных фондов, добровольцам из различных организаций по борьбе с болезнями, одиночеством, самоубийствами и прочими напастями человеческого рода. Я охотно приглашаю в дом мальчиков в вязаных кипах, с мешками за спинами, которые

по пятницам собирают еду для бедных семей, и бросаюсь открывать кухонные шкафы, наполняя пакет провизией.

Все это не имеет никакого отношения к моим особым душевным качествам, которых нет. Я знакома с несколькими, весьма жесткими и несентиментальными людьми, которые в подобных случаях ведут себя так же. Все дело во врожденном чувстве высшей субординации, когда ты знаешь, что любой человек, возникший на твоём пороге или подошедший к тебе на улице, – это не случайность, а *посланец*.

Словом, в начале службы я по привычке принимала за *посланцев* всех людей, добивавшихся встречи со мною... Когда же огляделась и стала чуть-чуть разбираться в здешней ситуации, – подобралась, насупилась... и приняла круговую оборону.

\* \* \*

В то же время, явившись на открытие какой-то международной конференции по иудаике, я впервые очутилась в гуще научного мира, который, как выяснилось, за время моего отсутствия в России возродился, пророс, разветвился и ныне цвел и плодоносил, – и сразу свела знакомство с несколькими в высшей степени симпатичными, талантливыми и трогательными людьми.

Их легко было отличить от других: они не умели просить денег. Их безуспешно обучали этому киты из УЕБа, субсидирующего научные проекты. Для этого организовывались специальные семинары по фаундрейзингу, на которых активные дамы-умелицы читали с утра до вечера лекции по обучению многим, *сравнительно честным, способам отъема денег* у спонсоров. Профессора конспектировали все эти советы, возможно, даже зубрили уроки дома... Ничего не помогало!

Вот как просил денег на свои уникальные научные проекты профессор Абрам Зиновьевич Ланской – светило мировой иудаики, автор ряда блистательных книг. Он поднимался. Одергивал старый пиджак. Прочищал горло. Говорил:

– Я Абрам Ланской, профессор, доктор наук, специалист по античному периоду еврейской истории... Дайте денег!

Когда мы познакомились поближе, я многое поняла:

Абраша Ланской привык думать о смерти эпически-спокойно и даже дружественно. В принципе, ему не нравилось жить; но будучи ответственным и академическим человеком, он относился к жизни, как к профессиональному заданию, и – жил. Хотя с удовольствием прекратил бы это глупое занятие в любую минуту. Профессиональная научная сфера (античность) и некоторые традиции величественного, исполненного достоинства ухода из жизни древних предрасполагали профессора Абрама Зиновьевича Ланского к академическому взгляду на эту проблему.

Когда, бывало, в университет являлся какой-нибудь миллионер из горских евреев, в молодости купивший диплом филолога и в память об этом дипломе желавший вложить деньги в издание «кого-нибудь стоящего», Абраша говорил ему:

– Советую вам обратить внимание на труды античных авторов. У них бесконечно много достоинств. Во-первых, имена эти проверены временем. Во-вторых, у них нет родственников. И в-третьих, они прекрасны хотя б уже тем, что давным-давно умерли...

Тут его голос обычно мечтательно зависал, лицо разглаживалось, глаза заволакивала нездешняя дымка...

Ну как такой человек мог просить чего бы то ни было, у кого бы то ни было в этой земной жизни?

...А вот Миша Каценельсон, – философ, культуролог, парадоксалист, – тот, наоборот, заваливал потенциальных спонсоров камнепадом речи. Устремив на собеседника белое чернобровое лицо боярина с длинными волосами, которые частым беглым жестом он откидывал со лба и заводил за уши, Миша цитировал справочники и энциклопедии, сыпал именами давно сгинувших третьестепенных деятелей забытых литературных и прочих сообществ... Минут через двадцать одуревший спонсор впадал в летаргическое состояние и ослабевал настолько, что просто был не в состоянии вытащить чековую книжку или расписаться на бланке...

Миша был эрудирован настолько, что меня в разговоре с ним брала оторопь уже на третьей минуте; я как-то сникала перед этой лавиной информации, как перед бесчисленными томами «Британики». Вместе с тем Миша оказался вовсе не книжным червем: был азартен, боевит, постоянно с кем-то судился, причем сам себя защищал. И вообще, жил с полным своим удовольствием.

Сережа Лохман, безумный библиофил, коллекционер, разыскатель и издатель редких книг – просто не умел высиживать свои просьбы в приемных богатых фондов. Не было у него ни капли терпения, вернее, времени не было совсем: он должен был мчаться в типографию, где запускали тираж очередной редкой книги. И пока спонсоры рассматривали его просьбу на поддержку проекта, он бежал закладывать в ломбард единственное фамильное кольцо жены или продавал квартиру, потому что книга должна была выйти в срок, установленный Сережей самому себе. Учитывая этот невозможный характер, я кричала – «Пригласи, пригласи, пригласи!!!» – едва Маша докладывала, что явился Лохман и очень торопится.

За всех этих затрепанных гениев отдувалась Норочка Брук – женщина ослепительная, светская львица, вдова знаменитого актера. Она надевала деловой, но элегантный костюм и шла на прорыв, с очаровательной улыбкой выслушивая идиотские остроты председателей пузатых фондов, как бурлак, таща за собою всех этих ученых-не-от-мира-сего, так что поначалу даже забывалось, что Нора и сама по себе профессор, автор книг по истории хазар, президент объединения преподавателей высших школ «Научный Форум» – и прочая, и прочая, и прочая...

\* \* \*

Рабочий день, как правило, начинался у меня с перебранки у бронированной проходной детского садика: Шая или Эдмон, стерегущие ворота нашей крепости, останавливали меня и осведомлялись – все ли в порядке, как прошла ночь, не заметила ли я чего странного или подозрительного, не получала ли звонков с угрозами, помню ли о приказе департамента *Бдительности* — не передвигаться самостоятельно по улицам Москвы и, наконец, когда я переставлю стол от окна, чтобы – не приведи Бог! – в случае чего меня не убили выстрелом в затылок?

Затем пробег по коридорам детского сада наверх, в отсек, где занимал три комнатенки мой департамент Фенечек-Тусовок.

И вот я садилась за стол, включала компьютер, щелкала «мышкой» и с неизменным почтительным изумлением наблюдала, как возникает на экране потешная летучая мышь в фуражке почтальона, и в мой электронный короб сыплются и сыплются приглашения, воззвания, письма, депеши из Иерусалима, афиши разнообразных, отнюдь не всегда еврейских, организаций и прочая шелупонь, чепуха, чушь и ветошь:

    рассылка материалов «Народного университета» Пожарского;

    рассылка национальной русской партии Украины о притеснениях, творимых украинскими националистами;

    рассылка Чеченского Союза борьбы с оккупацией;

    рассылка Панславянского Союза борьбы с засильем американско-сионистского спрута;

приглашение от Гройса явиться на банкет, посвященный учреждению Фонда Объединенных Еврейских Конгрессов;

приказ по департаменту *Кадровой политики* об увольнении Анат Крачковски и немедленном ее отзыве в Иерусалим;

приказ по департаменту *Кадровой политики* о восстановлении Анат Крачковски в должности и продлении ее деятельности на три месяца в связи с отсутствием достойной замены.

...Раскапывание завалов электронной почты прерывалось пулеметной очередью звонков. Я уворачивалась, как могла. Наконец поняла, что, не обучив своих ребят отчаянно и артистично врать, я буду погребена под лавиной посетителей, просителей, представителей и учредителей...

Весьма скоро мы выработали несколько нехитрых приемов.

Тот, на кого выходил очередной, жаждущий моей крови проситель, аккуратно и вежливо говорил, на всякий случай: – Она на совещании, а кто ее спрашивает? Одну минутку, я выясню – сможет ли она отвлечься.

Затем, на цыпочках вкравшись в мой кабинет: – Там этот старикан с проектом пирамиды-усыпальницы Рабина.

Или:

– ...помните, дама, которая новый гимн Израиля пишет?

Или:

– ...Лившиц, насчет генетической перелицовки палестинцев...

Я молча махала руками, хваталась за голову, закатывала глаза, и Костян или Маша, или Женя удалялись также на цыпочках:

– К сожалению, она на совещании у начальства по очень важному вопросу...

Но, бывало, меня заставляли врасплох – когда по неосторожности я брала трубку сама.

Так напал на меня старикан, архитектор из Одессы.

Восьмидесятипятилетний могикан, – к моему изумлению, он продрался через колючую проволоку и минные поля нашей охраны и приволок несколько папок со своими проектами. Одна из них – огромная, из похожего на фанеру картона, долго не открывалась, он пытался, развязывал тесемки, попутно захлебываясь торопливыми объяснениями, кашляя, задыхаясь, впрыскивая в рот дозы ингалятора. Я, сама астматик, терпеливо и сострадательно все это переживала.

Наконец во всю ширь письменного стола передо мной распахнулся павильон ВДНХ, украшенный звездой Давида.

– Что это? – спросила я, имитируя неподдельный интерес.

– Проект Третьего Храма на горе Сион, – проговорил он гордо. – Ищу спонсора.

– Строить? – кротко спросила я, не веря ушам своим.

– Пока нет! Издать альбом.

Правильно, что евреи установили запрет на изображение, подумала я. Знали своих.

Затем он долго демонстрировал коллажи, которые настрогал в великом множестве. Иные я даже помню: лодка, вроде индейской пироги, в которой в затылочек друг другу сидят на веслах десять мужчин...

– Тур Хейердал на «Кон-Тики»? – поинтересовалась я.

Он пояснил, что это – аллегория: предводители десяти потерянных израилевых колен плывут, устремленные в неизвестное будущее...

– А их разве по воде гнали? – удивилась я.

Он повторил невозмутимо:

– Это же аллегория...

На другом коллаже Главный раввин России Манфред Колотушкин и Главный раввин России Залман Козлоброд – смертельные враги в жизни – уходили, обнявшись, светлой дорогой к Храму, который сиял на горе Сион, как гигантская новогодняя елка. А там, наверху, раскрыв братские объятия, их ждал уже третий Главный раввин России, *шадист* Мотя Гармидер, которого ни тот ни другой, доведись им, не то что к Храму, – к бане близко бы не подпустили...

Наконец, на третьем коллаже – Главный раввин России Залман Козлоброд крепко обнял, вернее, вцепился в каменные Скрижали завета. Создавалось впечатление, что он только что получил их в вечное пользование неподалеку от своего поместья в Лефортово и – в отличие от Моисея – боится нечаянно разбить...

## Глава 7. «Себя как в зеркале я вижу»

... Просыпаясь часа в три ночи и маясь до утра, я изобретала генеральный путь собственной деятельности, будила мужа, советовалась с ним, ссорилась, отчаивалась, вдохновлялась... Мне хотелось придумать что-нибудь этакое, новенькое, чего еще не было в Синдикате.

Собственно, работа с населением давно уже обрела традиционные формы: помимо колоссальных народных гуляний в табельные дни, помимо кружков, курсов по изучению чего бы то ни было, вечеров и лекций, *фенечек и тусовок*, каждый департамент практиковал выездные семинары, где в течение трех дней где-нибудь в загородном доме отдыха, пансионате или туристической базе заезжие израильские посланники и местные специалисты, заказанные и оплаченные в «Научном Форуме» у Норы Брук, обрабатывали пойманных в сети рыб по высшему разряду: программа таких семинаров составлялась наиплотнейшим образом, с получасовым перерывом на обед, так что желающим прокатиться за город на халяву приходилось отрабатывать и номера в тусклых обоях, и селедку под майонезом, и свежий воздух за окном.

Основным условием набора публики на такие вот тусовки было наличие *мандата*. Собственно, это был и основной закон Страны: взойти в Святую землю предков может человек, имеющий *мандат на Восхождение*... Этот самый *мандат* человеку обеспечивал его еврейский дедушка или бабушка, – что уж говорить, условие шадящее. Ведь, положа руку на сердце или оглянувшись окрест, вы чаще всего найдете этот самый *мандат* не далее как у себя за пазухой... А если не найдете, то, значит, плохо ищете... Покопайтесь в родословной, пошуйте какого-нибудь прадеда-кантониста, какого-нибудь Семена Ивановича Матвеева, полного георгиевского кавалера, бывшего Шмуля Мордуховича... Ищите, говорю я вам, и обрящете... В девяностые годы, годы *Великого Восхождения*, *мандаты* покупались в синагогах, подделывались в паспортных столах, возвращались во многих семьях из небытия, из выкрещенного прошлого, из кантонистских легенд, из бегов, из потерянных паспортов, из подделанных военных билетов... В те, уже легендарные, годы сотрудникам Синдиката не приходилось рыскать по задворкам Советского Союза, чтобы выдать на-гора и засыпать в закрома Родины. Они работали, как черти, валясь от усталости с ног, отправляя в день по несколько самолетов...

Ныне ситуация изменилась, и словно гончие ищейки, синдики прочесывали и прочесывали старые грядки, пытаясь раскопать давненько закопанные в землю *мандаты на Восхождение*, а иногда заново посеять и вырастить в человеке нечто такое... некое чувство... самоощущение такое, вот... ощущение чего-то такого, неопределенного, но жгуче волнующего, которое...

Короче: на чиновном жаргоне Синдиката это называлось *национальной самоидентификацией*, и я хотела бы взглянуть на прохвоста, который изобрел этот термин.

Меня и саму коллеги часто приглашали поучаствовать в таких вот семинарах.

В большинстве своем собирались там вполне приличные, даже интеллигентные люди, читатели книг, и моих, в частности; многие и сами пробовали писать – с каждого такого семинара я возвращалась с несколькими рукописями, выданными мне «на благосклонное прочтение»... Бывало, после выступления, затерев меня в угол в дребезжащем музыкой баре, кто-нибудь из этих симпатичных людей интимным тоном интересовался – нет ли у Синдиката хороших программ по *Восхождению* в Германию...

\* \* \*

...Но я-то в своем привилегированном департаменте *Фенечек-Тусовок* ориентирована была на особую публику; я никого не должна была мучить обязательной программой, никого никуда не тягала, и вообще, работала не топором и зубилом, а скальпелем. Даже Яша в одном

из своих летучих комиксов, нарисованных им на «переключке синдиков» за те пять минут, пока я отчитывалась перед Клавдием за неделю, нарисовал меня в белом халате, стоящей над простертым, обнаженным ниже пояса пациентом. В одной руке я держала скальпель, в другой – эфирную маску, из моего рта выдувался пузырь со словами: «Вы напрасно боитесь, в моем департаменте обрезание делают незаметно и безболезненно»...

Словом, я просыпалась ночами, перебирая в уме всевозможные идеи. Мысленно называла это «постирушкой».

В конце концов сочинила несколько изящных, на мой взгляд, проектов. Например, проект семинара по искусству.

Наутро собрала свой департамент на еженедельное совещание. В кабинете у меня уже стоял к тому времени роскошный диван для посетителей, журнальный столик, кресла. По пути на работу я покупала печенье, Маша и Женя заваривали на всех чай... Эти совещания, а точнее, ор, колготня и ругань, проходили у нас довольно весело, и на наш хохот, бывало, забежал Яша, кое-кто из инструкторов департамента *Восхождения*, заскакивал Изя Коваль с новой моделью мобильного телефона, забредал Гурвиц, позвякивая тяжелой связкой ключей от рая...

– Ребята, – сказала я, как это ни смешно, волнуясь. – Главная новость: в конце месяца мы проводим небывалый семинар по проблемам искусства...

– А на кого ориентирован этот ваш семинар?! – завела, как обычно, Рома. – Кому адресован?

И тотчас зазвонил телефон. Маша взяла трубку. Я показала ей знаками: не могу, мол, занята, совещание, отсылай...

Но услышав голос в трубке, Маша вытаращила глаза, судорожно сглотнула и, пробормотав:

– Щас, Ной Рувимыч... – переключила кнопку на аппарате.

– Клещатик!!! – прошипела она.

Что-то смутное вспомнилось мне. Кафе в Иерусалиме, зеленый тент над столиком, пятна света на благородном стволе старой оливы... Что-то такое предостерегающее...

– Я же показала тебе – не могу! – удивленно сказала я Маше. – У нас совещание.

– Но ведь Клещатик!!! – сдавленно вскрикнула девочка. Судя по виду, она была готова грохнуться в обморок.

Я взяла трубку и услышала совершенно родственный голос:

– Здравствуйте, дорогая... Простите, что влезаю в ваши напряженные будни, посреди совещания...

Я пожала плечами. Откуда этот господин мог знать о совещании? Услышал мои слова? Но ведь Маша успела переключить телефон, я точно видела...

– Ничего-ничего, – любезно проговорила я. – Слушаю вас...

– ...Ной Рувимович, – подсказал он... – А мы ведь с вами давно уж должны познакомиться. Опять же и повод подходящий – ваша прекрасная идея семинара по искусству...

Я оцепенела.

Да, за завтраком я советовалась с мужем – кого позвать на наш семинар из российских художников и искусствоведов, кого пригласить из Израиля... Но больше никому, просто никому не успела сказать ни слова, вот, до последней минуты.

Я внутренне заметалась. Спросила растерянно:

– Откуда вы знаете о семинаре?

– Слухом земля полнится! Вы человек у нас заметный, так что... – он еще говорил что-то тем же задушевым тоном... Я не знала, что и подумать.

– ...а вот сегодня, днем, смогли бы мы встретиться, пообедать где-нибудь?

– Вы имеете в виду где-то в городе?

Он рассмеялся:

– Да уж, не в Синдикате... У меня, знаете, печень не казенная.

Действительно, на обед к нам, в Синдикат, с часу до двух привозили алюминиевые баки из ближайшей столовой Метростроя, и мы обреченно жевали прибитые котлеты, обугленную печенку и макароны, липкие и тягучие, как смертная тоска...

– Я заеду за вами в три, – сказал Ной Рувимыч, – а там уж мы решим – куда податься. – И повесил трубку.

В сильнейшем замешательстве я обвела глазами своих подчиненных. Напряглась и вспомнила почти дословно разговор с моим предшественником на террасе иерусалимского кафе. «Пусть все твои чувства, все мысли и все позы твоё естество замрут... и встанут дыбом...»...

– Ну вот, – проговорила Рома почти удовлетворенно. – А я все ждала – что это Клещатик запаздывает! Целых два месяца дал вам свободно гарцевать... Видать, чего-то опасается.

– Что ж вы молчали?! – воскликнула я. – Ну, рассказывайте!

Все они загалдели, перебивая друг друга, поправляя, вскакивая и вставляя какие-то замечания, совершенно мне непонятные. Из всего этого коллективного объяснения поняла я вот что:

Ной Рувимович Клещатик со своей фирмой «Глобал-цивилизейшн» уже много лет был генеральным подрядчиком Синдиката.

Его фирма, официальная, удобная и общеизвестная, как памятник Пушкину, проплачивала все затеи Синдиката безналичкой, – это было удобно всем; а затем уже Синдикат, с его неповоротливостью огромного ископаемого, спустя недели или даже месяцы оборачивался вокруг собственного хвоста и возвращал Клещатику долг, чаще всего в Иерусалиме, и совсем иной, вполне конвертируемой валютой.

Тень Клещатика нависала над Синдикатом, как статуя Свободы над Гудзоном. Любое мероприятие, любое деяние Синдиката в России осуществлялось через эту фирму – «и будешь ты ходить путями моими»... Без Клещатика немислимо было снять зал, провести семинар, заказать автобус, поместить в гостиницу приезжих лекторов, купить в отдел ручки и салфетки. Вообще-то, объяснила осведомленная и опытная Рома, таких фирм навалом по всему миру, существуют они за счет своих – в целом небольших процентов за услуги... Но специфика существования Синдиката в России, балансирование, так сказать, в некоторых деликатных вопросах финансовой законности... с этим ведь такая морока! – тут они, как обычно, перешли на шепот, многозначительно округлив глаза и почти синхронно вывернув руки большими пальцами вниз: последний жест римлянина в Колизее.

Ничего не поняв, я устала в пол, на который они указывали... Наконец сообразила: с прошлой недели в «инструктажной», большой комнате на первом этаже прямо под нами, где обычно консультировали *потенциальных восходящих*, сидели и работали аудиторы из Налоговой инспекции... Мимо этой комнаты служащие Синдиката носились бесшумными валькириями, а главный бухгалтер *нашего российского кошелька*, Роза Марселовна Мцех, ходила торжествующая и гордая своей пронизательной честностью. (Яша подозревал, что она-то и навела российских аудиторов на нашу избушку *двуликого Януса*. При этом на салфетке (дело происходило в нашей неказистой столовой за неказистым обедом) он мгновенно набросал *двуглавого Ануса*: пышную, как сдвоенные подушки, задницу с двумя отверстиями. В одно через огромную клизму Джеки Чаплин закачивал доллары, из другого с фонтанной мощью вылетали рубли; эту брешь и пыталась закрыть своим телом железняк-матрос Роза Марселовна.)

– Так вот, Клещатик, – продолжала Рома, – это гений финансовой законности, гроссмейстер игры на всех досках, какие только попадают нынче в столице, виртуоз распутывания самых сложных узлов.

Но главное, – и в этом-то беда и закавыка, – главное, Ной Рувимыч Клещатик сам желает идейно участвовать в деятельности Синдиката, направлять, вдохновлять, инициировать. Бездна его проектов нашла применение в нашей организации.

– Зачем, – спросила я, – зачем ему это?

– А он увлекающийся человек, – ответила Рома, ухмыляясь. – Профессор, между прочим.

– Профессор чего?

– А какая вам разница? У него творческая жилка играет... Он, между прочим, и стихи пишет. Совместно с Фирой Ватник.

По таким мелочам, как семинары, сказала она, с нами работают его девочки, вышколенные, как солдаты, и у каждой из них тоже есть свои фирмы. Нас обеспечивает Ниночка. «Глобал-цивилизейшн», мегакомпания Клещатика, – это такая огромная матрешка, из которой вылупляются разнообразно и умело раскрашенные фирмы для любой надобности. Они рождаются и умирают, как далекие вселенные, поглощая немислимые суммы, выделяемые Синдикатом на повседневную битву за *Восхождение*.

– ...С другой стороны, – сказала Рома, – вам даже проще будет работать. Вот вы говорите, семинар. А как вы собирались приступить к этой затее?

– А чего там приступить! – раздраженно отозвалась я. – Приглашаем российских и израильских художников, звоним в дом творчества – в «Челюскинскую» или «Сенеж», – где есть литографские камни, заказываем номера и харч...

– ...и в самый последний день перед началом семинара вам звонят из дома творчества, извиняются и говорят, что к ним заехала большая творческая группа, поэтому вашу группу они принять не могут.

– Что за бред, какого черта! – воскликнул мой муж, координатор выставочных и художественных проектов в моем департаменте. – Мы заранее подписываем договор... Заранее платим...

– О, тут все в порядке: вам вернут деньги до копейки. Вам некуда и не на что будет жаловаться.

– Но почему?! – воскликнула я.

– Потому что Клещатик не даст вам гулять без поводка, – сказал разумный Костян. – Он перекупит весь дом творчества, чтобы в следующий раз неповадно вам было его обходить.

– Значит, надо позаботиться, чтобы он ничего не узнал, – начала я... и осеклась: мои ребята выразительно смотрели на меня, переводя взгляд на телефонный аппарат, который впервые показался мне одушевленным и притом подлейшим существом.

Тут они, опять-таки перебивая друг друга, увлеченно поведали страшную историю пятилетней давности, когда некий безумно храбрый синдик решил восстать против Клещатика и отпасть от него, и заказал проведение конференции в гостинице «Украина» совсем другой фирме. Директор фирмы, молодая энергичная женщина, представила ему выгодную смету, конференция была подготовлена на высшем уровне, грянула дата открытия, гости съезжались на дачу... Мятельный синдик торжествовал, отпускал шуточки по адресу Ной Рувимыча, учил коллег жизни и чувствовал себя совершенным победителем.

Спустя три минуты после начала конференции в «Украину» явился Ной Рувимыч лично, вызвал даму-директора в холл, с полчаса посидел с нею на мягком кожаном диване, улыбаясь и что-то интимно шепча ей в шуме и гаме огромного вестибюля гостиницы... После чего дама исчезла. Причем исчезла совсем, необратимо, навсегда. Для Синдиката, по крайней мере. Вместе со своими девочками-распорядительницами, вместе с коробками блокнотов и ручек,

вместе с папками, бутылками минеральной воды и одноразовыми стаканчиками... Буквально: была фирма и нет ее.

– Вздор, – не выдержала я, – что за апокрифы, что вы несете! Не шейте Воланда графоману Клещатику!

– Да, да! – горячо вскинулись все разом. – Несчастный синдик бегал по этажам гостиницы, пытаясь узнать – где участники конференции могут пообедать, куда подадут им кофе... Все было тщетно. Администрация гостиницы прятала глаза и заявляла, что ничего не знает, ни с кем не договаривалась, впервые слышит... Участников международной конференции попросили выехать из номеров... Поднялся страшный скандал, поверженному синдикату оставалось лишь припасть к стопам Клещатики, каясь и рыдая... Тот еще подержал ситуацию до вечера в нагретом состоянии, потом смиловился и показал дирижерской палочкой *diminuendo*... Людям дали поесть, позволили снова внести в номера чемоданы. Однако испакощенная конференция уже не оправилась, обескураженные участники обсуждали доклады без особого интереса, к тому же странным образом все стало известно в Иерусалиме, карьера безумца немедленно была прервана, он был отозван домой. В Синдикате, многозначительно подчеркнула Рома, никогда не любили скандалов и революций...

На этом интересном месте совершенно смятого ходом событий совещания в дверях моего кабинета возник осанистый человек – очки в золотой оправе, рыжий дымок над лысиной, ласковые ямочки на пергаментных щеках. Все улыбалось в этом лице, все звало дружить, поверять душевные заботы, совместно трудиться на общую цель *Восхождения*...

Сотрудники моего департамента прыснули врассыпную, как тараканы, и забились за экраны своих компьютеров.

– Ной Рувимович? – сухо и осторожно спросила я, поднимаясь и с омерзением чувствуя, как лицо мое в ответ расплывается в улыбке, а рука так и тянется к рукопожатию.

– Мечтал, мечтал познакомиться! – пожимая руку (словно знал, что я не терплю припаданий чужих мокрых губ к руке), искренне и дружески проговорил Ной Рувимыч. – Вот только книжку на автограф не прихватил, но в самое же ближайшее время...

...и я уже не заметила, как меня повлекли за пределы детсадика...

Единственно, что колючкой застряло в памяти: когда мы с Ной Рувимычем проходили первым этажом Синдиката к выходу, из дверей своего кабинета выглянул Яша Сокол, схватил меня за руку, втянул наполовину внутрь и быстро, горячо прошипев в лицо: – Только не «Пантелеево»!!! – отпустил руку... и я ускорила шаги, чтобы поравняться с Ной Рувимычем...

Затем меня усадили в машину и повезли, не переставая говорить тоном доверительным, серьезным... И очень он мне нравился – неброской элегантностью, негромким интеллигентным голосом и подчеркнутой неторопливостью движений.

– Понимаете, дорогая, – говорил Ной Рувимыч, – вы, без сомнения, уже поняли, что в Синдикате-то, по большому счету, делать и нечего. Скажем прямо, никакой истовой работой цели достигнуть невозможно. Люди *восходят* или *не восходят* совсем не потому, что некий синдик устраивает какой-то семинар, а другой валяет дурака и пьянствует. Все знают, когда и почему птицы перелетают с места на место, а животные переходят на другое пастбище... И я рад, что когда-то с моей, не буду скромничать, подачи был создан ваш департамент. Ведь в каком-то смысле Синдикат организация, скорее, представительская. Вы согласны со мной?

– Мне, на моей должности, было бы обидно с вами согласиться... – искоса взглянув на него, ответила я. – Но кое в чем вы правы.

– Ну вот, я рад... Далее: поскольку нет реального ежедневного рабочего производства, нет, так сказать, продукта деятельности, то любой самодур, попавший в Синдикат на руководящую должность, может изменить организацию до неузнаваемости, что случалось не раз...

Поэтому наша задача, как это ни смешно, – ставить задачи. Ставить цели... И достигать их. Я бы хотел рассказать вам об одной моей гениальной задумке... Впрочем, успеется...

Ной Рувимыч оказался виртуозом вождения. Мой Слава тоже лихо объезжал пробки, нарушая все правила и совершая все мыслимые и немыслимые трюки, чтобы довезти меня вовремя. Но Клещатик проделывал все это с элегантно-неторопливостью, легко, даже нежно, успевая поглядывать и на дорогу, и на собеседника справа, и на часы, и на крякающий мобильник.

...Закрытый клуб «Лицей» размещался в старинном особняке на Спиридоновке.

Я уже слышала от кого-то из знакомых об этом заведении, а может быть, читала в «Комсомольце». Дизайнеры, особо не мудрствуя, просто воссоздали внутри обстановку пушкинской эпохи.

Нас провели на второй этаж за столик... нет, за стол, – там всего стояло пять основательных, старинных круглых столов, накрытых белыми, твердыми на ощупь скатертями.

– Как вы относитесь к морским утехам? – спросил Ной Рувимыч, усаживаясь. – Здесь изумительно готовят гребешки. Здешний повар разыскал среди бумаг Вяземского один старинный рецепт...

– О, нет, гречневую кашу, пожалуйста...

В то время я уже подседа на диету знаменитого доктора Волкова, о чем и поведала сочувственно кивающему Ною Рувимычу и странно вертлявому официанту, который подсакивал, поддакивал, восклицал, пришаркивал ножкой, – и на мой взгляд, вел себя совсем «не в тон» такому тонному заведению. К тому же он мне сильно кого-то напоминал...

Ной Рувимыч заинтересовался модной диетой и сразу же записал координаты светила в свой электронный – я еще не могла привыкнуть к этому новому для меня, безобразному слову – *органайзер*.

– Ну а я, пока еще на свободе, если позволите, закажу себе... – он задумчиво листнул карту вин... Не оборачиваясь, спросил официанта: – Что у нас сегодня из испанских?

Тот обрадовался, подпрыгнул, выбросил правую руку в сторону, словно собрался стихи читать, и воскликнул:

– Легендарное Pagos – Mas La Plana из верхней серии, урожая восемьдесят первого года!

– Ну, вот и отлично. Значит, бокал Пагоса... гребешки в соусе «Рикки Мартин»... только скажи, чтоб не слишком грели... М-м-м... супчику, скажем... консоме «Сицилия»... ну, и «Тобико», пожалуй, – и мне, сладострастно улыбаясь: – Вы знаете, что такое здешний «Тобико»? Это потрясающе нежный жареный морской язык с соусом «Лайма» и с икрой летучей рыбы... Да! – это уже официанту, – и креветок, конечно!

Официант, припрыгивая, убежал с заказом... Я проводила его взглядом и сказала:

– Этот юноша несколько странен, со своими ужимками, с этими бакенбардами... вы не находите?

– Ну, ему так полагается... – сказал Ной Рувимыч. – Вы узнали его?

– ...что-то очень знакомое в лице...

– Это Кюхельбекер, – продолжал он спокойно, – пылкий Кюхля... Вот он и восторгается каждым заказом. А соседний столик, взгляните, обслуживает Дельвиг. Этот поосновательней будет, – образ другой... А вы, ай-яй-яй, и Пущина не узнали – там на входе, в гардеробе?

Я оглянулась. Да, это был высший класс воссоздания стиля эпохи, ее персонажей.

Собственно, ресторанов и клубов, имитирующих обстановку и мебель девятнадцатого столетия, было по Москве немало, и клуб «Лицей» отличался от прочих только тем, что в подлинных шкафах, совсем еще недавно бывших музейными экспонатами, стояли подлинные книги, принадлежавшие если не самому Александру Сергеевичу, то друзьям его и знакомым; а на стенах висели подлинники акварелей Карла Брюллова, рисунки Ореста Кипренского,

масло Федора Бруни. Впоследствии я поняла, что сидели мы с Ной Рувимычем в комнате, называвшейся «библиотекой», – у окна стояла на штативе настоящая подзорная труба того времени, а посреди зала плыл огромный глобус 1829 года, обернутый к нам в то время уже открытой и обжитой, но никогда не виданной Пушкиным Америкой.

– ...А у нас в Иерусалиме, – сказала я, обреченно придвигая поближе тарелку с гречкой, – на античной улице Кардо есть ресторан римской кухни. Там прямо на входе посетителям выдают лавровые венки и тоги, вы ложитесь на скамьи и пируете, лежа на боку, как древние римляне... Здесь как-то недодумано на сей счет.

Ной Рувимыч усмехнулся:

– В том смысле, что неплохо на входе выдавать гостям цилиндры, трости и прочие аксессуары эпохи? Помилуйте, здесь не балаган, сюда ведь серьезные люди приходят. Великие сделки заключаются, старые империи рушатся, новые создаются...

(В ту минуту я была уверена, что он шутит.)

– А Сам? Он кто – владелец заведения? – спросила я. – Как он гримируется? Под свой канонический облик? – и кивнула на противоположную стену, где в тяжелой тускло-позолоченной, «правильной» – молодцы, дизайнеры – раме висел знаменитый А.С. Пушкин работы Кипренского: «Себя как в зеркале я вижу...»... – Кстати, замечательная копия...

– Это не копия, – мягко проговорил он.

Я рассмеялась.

– Ну, уж позвольте, Ной Рувимыч... Акварели, возможно, и Бруни – чем черт не шутит... Но подлинник Кипренского должен благополучно висеть в Третьяковке.

– Должен, должен... – покивал Клещатик добродушно. – Но я ведь чаще хожу обедать в «Лицей», чем в Третьяковку, при всем моем уважении к музеям... Так что мне сподручней, чтобы он здесь висел... Вы только не расстраивайтесь, не огорчайтесь, а то вся ваша диета пойдет насмарку. Кстати, как наша гречка?

– Превосходна, – пробормотала я.

– Ну, вот и славно. Повару дадим премию... – Он взглянул на часы. – Однако к делу... Я счастлив видеть вас на этом, весьма важном месте. Скажу откровенно: просветительская работа Синдиката во всем, что касается наших традиций и религии, конечно, очень важна – этим, если не ошибаюсь, занимается Изя Коваль, мой давний приятель. Я готов и в этом направлении пожертвовать Синдикату толику своих бесчисленных идей. Например, меня страшно интригует такая темная и трагическая страница нашей истории, как потерянные колена израильтян... Что вы, кстати, думаете о них?

– Признаться, я как-то... Да что о них думать-то? Ведь их давно уже нет.

Он таинственно улыбнулся, качая головой...

– Видите, а ведь это – одна из великих загадок человеческой истории. И если мы не попытаемся...

– Ной Рувимыч, – сказала я нетерпеливо. – Что там загадочного? Страна, проигравшая войну, в те времена всегда подвергалась полному разорению, особенно в таком жестоким регионе. Все сатрапы древности перегоняли население завоеванных земель на другие территории, а взамен, на опустевших землях поселяли другие народы... Разве Сталин, сатрап новейшей истории, не так поступал? Что ж тут темного или странного?

Мне был скучен этот многозначительный разговор ни о чем, и я пыталась понять – зачем Клещатик его затеял, к чему припел эти несчастные, давно затерянные и растворенные среди иных племен еврейские племена? К чему? Но тема эта, видимо, была вводным словом, вступлением. Я ждала основной речи, ради которой меня сюда и привели.

– Но Бог с ними, с коленами... вернемся к нашим баранам. Так вот, история, традиции – это правильно, это хорошо, но – искусство? Разве искусство меньше значит в деликатной работе с *восходящими*?

Ной Рувимыч говорил и при этом ловко орудовал пятью, по крайней мере, вилочками, ножами и какими-то нептуновыми трезубцами. Хорошо, что заказала гречку, вскользь отметила я, и не только в диетическом смысле.

– Праздники, привлекающие тысячи и тысячи народу – вот наша цель!

– Зачем? – кротко спросила я.

Он уставился на меня с искренним удивлением:

– Зачем?! Но разве сердце ваше не полнится гордостью при виде древних Ханукальных светильников, зажженных в Кремлевском дворце съездов?

– Вы просите погрома? – так же кротко, но с искренним любопытством спросила я.

– При чем тут погром! Послушайте, дорогая, у вас какие-то стародавние представления о России. Это объяснимо, конечно: когда вы уезжали в девяностом, в воздухе действительно пахло всякими неприятностями. Но сейчас Россия стала поистине свободным и открытым обществом...

Я проглотила еще одну ложку гречневой каши. Видит Бог, диета доктора Волкова требовала от пациента колоссального мужества.

– Ной Рувимыч... – сказала я. – На мой стол ежеутренне кладут пачку вырезок из российских газет, этим занимается специальный человек. Каждое утро я читаю своеобразные новости, – правда, несколько однобокие, – этого «свободного и открытого общества». Подожженные синагоги, оскверненные кладбища... ну и прочие мелочи еврейских будней великой страны.

– Вы не правы! – воскликнул он горячо. – То есть правы в чем-то, без сомнения. Но и то правда, что наш мэр стоит на страже законности. И вот уже много лет мы проводим наши праздники в самых престижных местах столицы!

Он подозвал Кюхельбекера, тот прискакал, Клещатик молча щелкнул пальцами, нарисовал что-то в воздухе... и через долю минуты юноша пылкий примчался с бутылкой вина. Ной Рувимыч с досадой поглядывал на мою тарелку, все еще полную, что лишало его возможности предупредительно спросить: – Еще гречки?

У меня же мгновенно испортилось настроение. Я понимала, уже понимала все его строительные и дипломатические усилия: праздники официально числились за моим департаментом, то есть технически относились к моему бюджету. А я бы предпочла тратить бюджет своего департамента на другие цели.

– Я принесу вам кассету нашего прошлогоднего Праздника Страны. Мы проводили его в Лужниках. Грандиозное зрелище! Семь тысяч народу! Мы с Эсфирь Диамант специально написали песню «Скажи мне душевное слово»... Она исполняет ее довольно часто. Стихи наши, совместные... Не приходилось слышать?

Я помотала головой, глотая еще одну ложку гречки.

– Словом, пора уже готовить программу... Мы привлекаем звезд эстрады. В этом году у меня родилась замечательная идея – устроить праздник на ледовой арене.

– Зачем? – промычала я, уткнувшись в тарелку.

– Как – зачем?! В пропагандистских целях: гигантское ледовое шоу!

– В Израиле нет льда, – угрюмо заметила я. – Что вы собираетесь пропагандировать?

– Но это же грандиозно: представьте себе – выезжает пара фигуристов и вывозит на арену огромный флаг Израиля! Такого еще не было, а?

Я отодвинула тарелку. Он заметил это и заторопился:

– Мы еще успеем обсудить наш будущий праздник. А вот насчет вашего семинара по искусству – где вы собираетесь его проводить? Я могу предложить замечательную базу. Дом отдыха «Пантелеево».

Я вздрогнула. Вспомнила угрожающе расширенные Яшины глаза.

– «Пантелеево»?! Ни в коем случае! Только не «Пантелеево»!

Я даже не пыталась вообразить ужасное это место. Я полностью доверяла Яше.

Ной Рувимыч поднял брови, понимающе улыбнулся.

– Дело в том, – сказала я торопливо, – что цель нашего семинара-пленэра – это создание литографий на библейские темы. Следовательно, это работа художников с литографскими камнями, которых нет нигде, кроме как в доме творчества... Технологический процесс такой, понимаете? Сначала художник рисует специальным литографским карандашом или краской, в состав которой входят жиры. Потом печатник протравляет кислотой готовый рисунок на камне, так что сам камень протравлен, а рисунок остался, затем специальным валиком наносит краску для печати, накладывает бумагу и сдавливает ее прессом...

– Интере-е-сно... – протянул Ной Рувимыч. – Забавный процесс. Надо бы как-то попробовать самому.

– А вы рисуете?

– О, у меня талантов много, – снисходительно улыбнувшись, сказал Ной Рувимыч. – Вот мы познакомимся с вами поближе, вы убедитесь... Хотелось бы дать вам почитать кое-что из моего. Не сомневаюсь, что и в литографии удалось бы мне сотворить что-то оригинальное...

Всю жизнь сдавленная меж отцом и мужем, – двумя художниками, угрюмыми профессионалами, – я была удивлена такой вдохновенной легкостью, но промолчала.

– О'кей, – встрепенулся Ной Рувимыч, – не станем расстраиваться по пустякам, мне важнее ваше хорошее настроение. Но обещаю, что в самом скором времени литографские камни в «Пантелеево» будут. А пока... уверяю вас, что о технической стороне дела вы можете не беспокоиться. Сегодня же к вам позвонит Ниночка, и вы только продиктуете ей список того, что понадобится для вашего оригинального мероприятия... Я рад, что Синдикат наконец привлек к работе человека творческого. Давно пора! Сказать по правде, не любил вашего предшественника... А с вами – я уже вижу – мы подружимся. И только не говорите мне, что работа в Синдикате мешает вам писать книги! Я ведь и тут могу быть полезен...

Вот этого Ной Рувимычу не стоило говорить.

Меж нами повисла пауза. И пока она длилась, наливаясь моим, мгновенно вспыхнувшим бешенством, он понял, что сказал лишнее.

– Чем же? – наконец спросила я, уже не следя за интонацией. – Свои книги я пишу сама. Без подрядчиков.

Он мягко рассмеялся. Налил в мой бокал минеральной воды, принесенной Кюхельбекером, дружественно потрепал меня по руке.

– Милая, да кто ж осмелится... Я говорю о другом. О главном, – о том, что наступает после того, как книга написана. Весь дальнейший процесс... промоушен... телевидение, радио... рецензии... тиражи. Букеры-мукары... Такой искрометно смешной роман, как ваш...

Ай-яй-яй...

По выражению моего лица он сразу понял, что оскользнулся. Так танцор-четочник оскальзывается на яблочной кожуре, на апельсинном зернышке, и уже весь филигранно отработанный номер летит к чертям. Ной Рувимыч не читал ни одного моего романа, ему насвистал мелодию Хаим из известного анекдота. Судя по всему, ему и литературную мою биографию насвистали очень приблизительно, десятилетней давности...

Он знал по опыту, что купить можно всех. Он всех и покупал – за разную цену, конечно. Меня тоже собирался купить для каких-то своих нужд, о которых я пока и понятия не имела;

догадывался, что валюта тут должна быть нестандартная... но не подготовился должным образом, не вызнал предварительную цену. И сразу понял, что обед закончен.

– Ну, у нас еще будет время поговорить обо всем, – легко и поспешно произнес он. – Уверен, нас ждут большие и интересные дела. А пока... – он полез во внутренний карман пиджака, достал компьютерную дискету и ласково и многозначительно положил на стол у моей тарелки. Я взглянула... Обычная черная дискета с затрепанной белой наклейкой, на которой карандашом написано: «база данных золотых медалистов – 2000 год».

– Что это? – спросила я.

– Маленький сувенир, – сказал Ной Рувимыч. – Гостинчик. Леденец на палочке...

Я задумалась, прикинула... Из золотых медалистов можно было выудить ребят, имеющих *мандат на восхождение*, и соорудить из них какой-нибудь нестандартный интересный проект. Что-нибудь человеческое...

– Спасибо, Ной Рувимыч! – искренне сказала я, пряча дискету в сумку. И поднялась.

– Я отвезу вас обратно, – сказал он.

– Не надо, благодарю вас.

– Но... как же вы? Одна?

Что там говорить – Ной Рувимыч был в курсе инструкций департамента *Бдительности*.

– Да так, – сказала я. – Пошляюсь немного...

Я действительно собралась погулять по Тверской. Через час на Маяковке у меня была назначена встреча с Мариной.

*Microsoft Word, рабочий стол, панка rossia, файл moskva*

«...литературная жизнь столицы протекает не то что вдали от меня, но в значительном отдалении. Меня приветливо встречают в редакциях журналов и просят приносить «новенькое», охотно публикуют, приглашают на торжественные вечера по случаю вручения премий... Была недавно на таком вечере одного из авторитетных литературных журналов. Они сняли для этой церемонии особняк на Тверской. Большой красивый зал, битком набитый литературной братией. В воздухе, пониже люстр, но значительно выше голов, носились едкие облачка ревности, тревоги, смятения, зависти и душевной боли такого напряжения, что эту субстанцию можно пощупать, как материю... Я улыбнулась одному, кивнула другому, третьей... и ретировалась, чтобы не разболелась голова от такого атмосферного давления.

...А на днях позвонили из одного престижного издательства, просят согласия стать номинатором новой литературной премии – «Народный роман». Я выдержала паузу, так как немало удивилась, – учуяла своим чувствительным носом запах портянок, струящийся от всей команды, сочинившей эту премию. Такой народный дурман... Тем не менее, по вечному своему легкомыслию, дала согласие. Как-то не подумала, что в процессе присуждений-обсуждений придется много чего читать, а все это – время, которого у меня и раньше-то было в обрез, а сейчас и подавно. Словом, вчера, посреди заполошной недели, некстати звонит секретарь издательства, напоминая, что время подпирает и от меня ждут фамилию номинанта. Я, как всегда в таких случаях, впала в отчаяние и решила номинировать единственного современного писателя, с которым поддерживаю тесные отношения, – свою Марину Москвину...»

## Глава 8. Марина

Я часто уезжала в командировки – на день, на два – по разным городам. Это были мои выступления, так называемые «встречи с общиной», – дело для меня, вечного странника, привычное... Нырнула в эти поездки, как в полынью уходила, – с головой. Выныривая, отфыркивалась, отплевывалась, и, отгребая повседневный мусор одной рукой, другой хваталась за телефонную трубку, звонила Марине, чтобы вытащила меня на волю.

А бывало, в середине рабочего дня набирала знакомый номер, – просто чтобы услышать ее голос: свежий, свободный от малейшего напора, навеки изумленный чудесами этого мира. Он невесомо реял в телефонной трубке, привыкшей принимать в себя пудовые тяжести интересов и охотничьего гона клиентов Синдиката.

– Господи, ты уже на работе, – удивлялась она, – так рано... Это все твои несусветные соловьиные подьемы...

– Почему же несусветные? Сейчас двенадцать. А встала-то я в пять.

– Если б мы с тобой жили в одной квартире, – говорила она, – мы бы никогда не встретились...

До некоторой степени это было правдой. Марина Москвина, автор повестей и романов, книг путешествий о Японии и Индии, буддистка и последовательная ученица просветленных гуру, просыпалась обычно в одиннадцать, затем медитировала, пила кофе, гуляла с английским сеттером Лакки, созерцала из окна кухни безбрежную и безнадежную панораму Орехова-Борисова... И все это без единого взгляда на часы (поскольку времени, как известно, не существует)... Словом, свою строчку-другую написать получалось у нее часиков в шесть вечера.

В отличие от меня она никогда не суетилась, никуда не торопилась, жила полной мерой каждую минуту и занята была важнейшими делами: в хорошую погоду каталась на роликах по Ботаническому саду, в Коломенском или в Кусково, в плохую – вязала на длинных спицах очередной свитер или шарф кому-то из друзей, шила экспонаты для выставок мужа, известного художника-концептуалиста Леонида Тишкова, или читала какую-нибудь новейшую книгу о фэн-шуй.

Когда Марине звонили почитатели ее творчества из Калуги или Брянска и приглашали приехать выступить, она говорила обычно одним из нездешних, легких своих голосов:

– Дорогие, конечно, конечно! С великой радостью!.. Но... не сразу... не сейчас... Вот зазеленеет...

...Что касается фэн-шуй – учения о благоприятном расположении предметов в жилище, – Марина увлеклась им давно. Однажды, приехав в Переделкино, дом творчества писателей, вошла в предоставленный ей номер и сразу поняла, что мебель в нем стоит неправильно. Мощный прилив вдохновения накатил на нее, и с необычной для хрупкой женщины силой она принялась передвигать письменный стол, шкаф, кресла и кровать.

Работала, как грузчик, часа два... Разглядывала, размышляла, медитировала... прислушивалась к магнитным полям, рассчитывала розу ветров... Наконец осталась довольна. Все правила фэн-шуй были соблюдены: блаженное равновесие сторон света, покой и любовь наполнили комнату.

Наутро коридорная пришла убрать номер, остолбенела на пороге и закричала:

– Безумная женщина, что вы натворили! В этом номере уже тридцать лет останавливается слепой поэт Маврикин!

(В отличие от меня Марине вообще нравилось жить в Переделкино. Ей там хорошо работалось. Полусумасшедшие и нищие пьяные писатели в ободренных номерах общались с тенями

собратьев, некогда умерших в этих же комнатах. По ночам здесь бродили Геннадий Шпаликов, Анастасия Цветаева... Это было такое братство теней.)

Довольно часто Марина вызванивала меня, и мы шли куда-нибудь шляться, после чего заходили перекусить в «Старый фаэтон» – недорогой ресторан с хорошей армянской кухней. Для меня эти прогулки были выпадением из времени «икс», из времени служения Синдикату, выпадением в прошлое, в нашу молодость, когда не помышляя – я об Иерусалиме, она – о Будде, – мы с Мариной ездили черт-те куда за 12 рублей выступать по линии Бюро пропаганды писателей.

Помню, как году в 86-м нас обеих пригласили выступить на Камчатке.

Стояла промозглая весна. В Петропавловск мы прилетели поздно вечером, готовые пасть в объятия встречающих и заснуть уже на заднем сиденье автомобиля. Но, так вышло, нас забыли встретить... С огромным трудом, челночными звонками в Москву и в Петропавловск мы, наконец, разыскали телефон дамы, которая организовывала наше выступление. Выяснилось, что ждали нас совсем не тогда и не там.

Заполночь, с трудом и муками, демонстрируя писательские билеты, подвывая от холода и охотно унижаясь, мы устроились в каком-то Доме студента.

Это был огромный холодный сарай с несколькими номерами для командировочных на пятом этаже. Зато нам каждой выдали по комнате, хотя в ту ночь мы охотнее легли бы в одну постель, лишь бы согреться.

Я лежала головой на плоской, как доска, подушке и долго дрожала под тонким, возможно, когда-то шерстяным одеялом... Ноги заледенели, зубы стучали. Я встала, надела свитер, опять легла... Где-то на нижних этажах кто-то – судя по звукам – затеял драку, потом кого-то – судя по звукам – долго рвало... В конце концов кое-как задремала...

Проснулась, не понимая – что происходит. Над моим ухом, но из-за стенки, звучал ясный, полный жизни и восторга голос Марины:

– Сереня! Если б ты знал, какая здесь красота, какие чудные диковинные деревья, какие дивные лианы и араукарии! Какое цветение вокруг!

Я продрала глаза, но мне казалось, что я так и не смогла их открыть. Вокруг плотной стеной стояла холодная тьма.

– Если б ты знал, какой вид открывается отсюда!!! – неслась из-за стены ликующая песнь. – Передай Лене, что из моего окна видны сразу три вулкана! Ты не поверишь, но как раз сейчас над одним из них поднимается грозный дымок... Ты представляешь?! Сереня!!!

Я села на кровати. Помогала головой. Вокруг по-прежнему было темно и глухо. Откинув одеяло, я спустила ноги на омерзительно холодный линолеум пола, и зачем-то пошлепала к окну.

– Ты слышишь меня, Сереня?! Боже!!! – неслось из-за стены. – Вот уже из жерла вулкана бурным потоком полезла раскаленная лава!.. Бегут люди, крошечные домишки на живописном склоне заливают огнедышащая стихия!.. Неужели она достигнет нашего холма?! Ну, все, Сереня, я не могу больше говорить, возможно, сейчас начнется эвакуация... Поцелуй от меня Ленечку!!!

Я подошла к окну и толкнула створку. За окном стояла все такая же плотная утробная молчаливая тьма. Ни зги, что называется, ни проблеска...

Я поплелась обратно, юркнула в не успевшую остыть постель и снова уснула...

...Всегда и всюду Марина ходила с красным, тисненым золотом билетом. Вообще, этих красных билетов у нее было два. Один – Союза писателей, другой – пропуск № 37— 2134, выданный 6 июля 1998 года Новодевичьим участком ритуального обслуживания Ваганьковского кладбища, – постоянный пропуск в колумбарий, где была похоронена ее тетя... Он был

действителен до... собственно, он был бессрочным: с печатью, с золотым тиснением на красной обложке – убедительнейший документ.

Когда охранник любого заведения, зависнув над пропуском в колумбарий, поднимал, наконец, на Марину заискивающий взгляд (как-то люди терялись, сталкиваясь с вечной темой), она говорила, кивнув в мою сторону, – а это со мной! – и нас всюду пускали беспрепятственно.

...К своим немалым годам она намедитировалась до такого просветленного состояния, что на все смотрела с мудрой улыбкой Бодисатвы. Это могло взбесить даже самого уравновешенного человека.

– Ты думаешь что-нибудь насчет Лакки? – спрашивала я ее. Лакки исполнилось уже семнадцать лет. Он ослаб, стал подслеповат, плохо управлялся с ногами и внутренними своими органами. Выросший Сереня говорил ему: – Ах, Лакки... ты же был приятной собачкой каких-нибудь двести лет тому назад.

– Что делать с Лакки? – напирала я. – Как быть дальше?!

Мне всегда казалось, что если побеспокоиться заранее, то беда испугается всех сложностей, нагроможденных ей под ноги, и тихонько обойдет стороной мучительный бурелом. Марина же наоборот – расчищала все пути настолько, что любая беда просвистывала мимо, не успевая притормозить ни на секунду.

– Ну, что – Лакки... – светло улыбаясь, говорила Марина, – он проживет еще двадцать лет и в следующий раз родится капитаном дальнего плавания.

Выражаясь цирковым языком, я была белым клоуном, она – рыжим. Но то, что обе мы – клоуны, бросалось в глаза любому непредвзятому наблюдателю, особенно когда мы появлялись где-то вместе.

Марина была серьезным человеком, автором многих книг, лауреатом международного диплома Андерсена.

Я была серьезным человеком, автором многих книг, лауреатом литературных премий.

Почему наши с ней диалоги всегда напоминали цирковые репризы?

\* \* \*

Накануне мы договорились пойти на выставку ее вязаных и сшитых вещей, открытую почему-то в Музее народов Востока. На этой выставке фигурировал и наш Большой Семейный Свитер, связанный Мариной, оплакивавшей в девяностом наш отъезд из Советского Союза. По нашему свитеру можно было водить экскурсии – столько было вложено информации в этот кусок вязаной материи. Чего стоили только лебединый клин и голова рыбы, вырезанные из старых Лениных ботинок и нашитые на свитер в области груди и в районе поясицы! Чего стоила – в области печени – лодка «Марина» (название вышито красным бисером), с рыбаком в поло-сатой тельняшке! Чего стоил грустный – на уровне почек – огромный глаз с катящимися слезами (дорожка из зеленого бисера)! А черный аист – на фоне огромного желтого солнца – точнехонько на заднице!.. Словом, это был выдающийся концептуальный свитер такого размера, чтобы его могли натянуть все члены семьи – одни, подворачивая рукава, другие, наоборот, расправляя во всю длину...

Много лет он служил, да и сейчас служит нам талисманом. Борис надевает его на открытие своих выставок, я – на церемонии вручения мне литературных премий или на свои лекции в американских университетах, наш сын – на судебные заседания, где он выступает обычно в роли ответчика, дочь – на особенно крутые тусовки, где надо завоевать авторитет *безбаашенной*.

Словом, наш Большой Семейный Свитер должен был фигурировать в качестве одного из центральных экспонатов на выставке вязаных произведений Марины Москвиной...

На входе в музей Марина сказала охраннику:

– Вообще-то, это моя выставка, но могу и документ показать, – и всучила ему заветный пропуск в колумбарий Ваганьковского кладбища.

Тот раскрыл корочку, замер, оробел... Марина сказала, кивнув через плечо:

– А это со мной.

И мы стали подниматься по лестнице.

Проходя залом китайского фарфора, она остановилась и показала в витрине маленькую неприметную пиалу многотысячелетней давности.

– Смотри-ка... – сказала, – видишь, в те времена одна такая пиала стоила двух латифундий. Затем мастер брал прекрасную драгоценную, только что расписанную пиалу, на которой едва высохли божественной нежности краски – и разбивал ее! Потом собирал осколки и склеивал их специальным золотым клеем. И тогда пиала становилась уже и вовсе бесценной и стоила нескольких латифундий, потому что, когда человек брал в руки это произведение искусства, в ушах его звучал и длился звон разбитой пиалы, и он проникался к ней еще большим благоговением...

Мой свитер, как и остальные связанные Мариной свитера, висел под потолком на распялках, раскинув рукава, точно невидимка в нем стремился кого-то обнять... А если учесть, что еще несколько свитеров были связаны когда-то для наших общих друзей, ныне уже покойных, эта летучая компания над головами производила неизгладимое впечатление.

Марина сказала, нежно улыбаясь:

– Довольно мистическая получилась тусовка, а?

Часа через полтора мы уже сидели в высоком сводчатом подвале «Старого фэтона», что на Большой Никитской, ожидая куриные крылышки на гриле и салат из свежих овощей.

Марина сказала:

– Насчет этой премии... брось, не стоит меня номинировать, жюри плохо к этому отнесется. Давай-ка, знаешь, номинируй Степу Державина. Вот это писатель! У него есть роман века, который он пишет всю жизнь. Потрясающий романище! Он читал отрывки, я плакала и смеялась.

Я прислушалась к фамилии автора, попробовала ее на язык – красиво она звучала, литературно: Степан Державин!

– Фамилия мне нравится. Тащи роман, почитаю.

– Его пока нет, – сказала Марина, – он еще не напечатан.

– Ничего, можно рукопись предоставлять...

– Понимаешь... – Она замялась, принялась накладывать в тарелку салат, – рукописи тоже нет. Но роман гениальный!

– Ты с ума сошла? – спросила я. – А по чему он читал этот свой роман? По записным книжкам?

– Ну, там были какие-то листочки... Знаешь, все просто со стульев валились! Успех был огромный...

Я начала терять терпение. Это со мною часто случается, когда я беседую с Мариной.

– Ты sdурела? – воскликнула я. – Объясняю тебе еще раз, что являюсь номинатором новой грандиозной премии. Каким образом я могу номинировать роман, который не читала, который не напечатан и которого, похоже, не существует в природе?

– Да нет, он существует! Просто Степа пишет его всю жизнь. Это такая сага, понимаешь? Там такой могучий поток жизни, что даже неважно – на каком месте поставить точку. Там об Илье Муромце, который сидит на печи тридцать лет и три года. А потом встает...

– Да, история оригинальная и, главное, совершенно новая! Короче – сколько у него этих листов? Три, пять?

– У него нет денег отдать эти листки наборщице... Слушай, а они там, в комиссии, не дадут ли пару тыщ на то, чтобы набрать роман? Только нельзя давать ему в руки, а то пропьет. Понимаешь, Степа, он, в общем, бомжеватый такой славянофил, человек национального крыла, ну, этих... патриотов...

Я откинулась на стуле.

– Час от часу не легче!

– Ну, послушай, это будет концептуально, что ты, именно ты, именно его книгу номинируешь! Такой литературный кульбит! Представляешь, он там пишет о провиденциальной миссии русского народа, там дышит почва, мол, и судьба...

– И эти строки я уже где-то читала. И боюсь, автор их тоже был не вполне русским человеком.

– Неважно, Степа – замечательный парень, хотя и алкоголик, и тип, склонный к насилию...

Я перестала есть, положила вилку и нож, и, видимо, выражение моего лица стало таково, что Марина подалась вперед, легла локтями на стол, торопливо объясняя:

– Ну... да, как-то в Переделкино он срывал с петель дверь в мой номер... Пришел подарить книжку лирических своих стихов, а я медитировала и как раз ушла в астрал... И не открывала. Он стал ломиться в номер, страшно матерился, оскорблял меня... спасибо, что кучу не наложил под дверь. А наутро я вышла – смотрю, на ручке висит целлофановый пакет, а в нем самодельная книжка страниц на шестнадцать с надписью «Марине Москвиной – единственной, одной», – и там же огрызок яблока... Мне в этой книжке, знаешь, последнее стихотворение страшно понравилось: «Чтобы не плакать, надо скорее спать...» Словом, неважно, Степа – мой старый и настоящий друг... Он закончил Литинститут, между прочим... Хотя и не член Союза писателей. Да ведь это и не нужно, правда? Кто б его в этот Союз принял? Он так болеет душой за православную идею, знаешь... Недавно понес отрывок романа на какое-то православное радио, чтобы читать в эфире. Там его отшили, а жаль...

– Почему же отшили? – спросила я злорадным тоном.

– Редактор сказал: «Заберите свою рукопись. На ней лежит дьявол!»

Я оживилась:

– О, тогда я действительно, пожалуй, номинирую его роман! Дьявол – это нам подходит, в смысле – Синдикату. Только... – я подозрительно уставилась на ее безмятежное лицо. – Только ты должна гарантировать, что в этом былинном эпосе нет какого-нибудь проклятого жидовина. А то в хорошеньком я положении окажусь перед собственной организацией!

– Что ты! – удивилась она. – Степа так погружен в славянскую идею, что жидовинов там и близко быть не может!

– А напрасно! – мстительно и непоследовательно возразила я. – В то время жидове достаточно густо населяли славянские земли, так и передай номинанту от номинатора.

...Зажужжал в моей сумке мобильник, будто заводили ключиком музыкальную шкапу; она и заиграла через мгновение бетховенское «К Элизе».

– Ильинишна! – прокричал в трубке голос моего водителя Славы. – Я не понял – когда и откуда вас забирать?

– Слава, через полчаса от «Старого фаэтона» – где обычно!

– Всенепременно! – отключился.

...На этом углу, на повороте к Петровке, между рядами машин, скучающих в вечной пробке, под рекламным щитом все с той же загадочной надписью про двойную запись бухучета, промышляли профессиональные нищие. В приоткрытое окошко всегда всовывалась гнойная морда одного юного поганца. В первый раз я дала ему десятку под осуждающим взглядом

Славы. Схватив десятку, паршивец немедленно сунул нос в окно и заныл: «Мадам, выслушайте меня, мне дедушку не на что похоронить, дайте сто рублей, *Христомбогом* прошу...»

Я немедленно подняла стекло.

– Видите, Ильинишна, говорил я вам – к добру ваша благотворительность не приведет, – сказал с тайным удовлетворением Слава. Он никогда не упускал случая повоспитывать меня.

С тех пор поганец, получив монету, регулярно пытался слупить с меня крупную купюру при помощи так и не похороненного дедушки.

Сегодня издалека я приспустила стекло и крикнула ему:

– Как здоровье покойного дедушки?

Он показал мне средний палец.

– Тут еще у нас на Бауманской таджики появились, – сказал Слава. – Старые, грязные, в засаленных халатах... Ужас! А монахини!

– Как, монахини – тоже?

– А как вы думали! Набирают каких-нибудь молдаванок. Те стоят с постными синюшными рожами, собирают «на храм». Видел я однажды такую монахиню после рабочего дня. Сидит за рулем машины, лоток свой перекинула на заднее сиденье, плат сдвинула на затылок, а под глазом – здоровенный фингал. То ли альфонс ее засандалил от всей души, то ли кто-то из благодарных клиентов... Это, знаете ли, могучая индустрия – нищенство. У них своя иерархия, свои законы, своя элита... Это целый... целый...

– Синдикат, – подсказала я Славе, и мы одновременно расхохотались.

– Да, а насчет монахов... Я, в бытность мою работником Свято-Даниловского монастыря...

– Слава!!! Вы – и монастырь?!

– Да, Ильинишна... все ж перепробовать надо. У меня там свояк трудился на nive противопожарной стражи, он меня и пристроил.

– Кем?

– Трудно сказать... Всяким-разным... Платили полтинник в день, – а это тогда были деньги не маленькие, ну, и полный харч... Так я там навидался, доложу вам... Навидался этой святой жизни... Первым делом прошел собеседование с отцом Никодимом. Я ведь так понижаю: монаси, оне должны быть вдали, так сказать, от мирских утех, а? А тут – вижу, ряса на нем шелковая, борода подровнена, щечки выбриты, на руце «Сейка» болтается, в офисе его хрусталь-ковры и благолепие сверкающее... И вот, сколько я там ящиков молотком посбивал, скольких монасей пытал: как, мол, к вере пришел? – никто мне, Ильинишна, не мог разумно ответить. Помню, сидели мы, выпивали с одним монахом...

– Как это, выпивали? С монахом?! Побойтесь Бога, Слава...

– Я-то его не боюсь, поскольку никаких договоров о найме на работу с ним не подписывал, а вот монахи-то почто его не боятся, – не ведаю... Но хряпнуть за милую душу да добавить вслед – это они зараз... Был там такой, молоденький, вроде завхоза... Отец... Евксиний, если правильно помню... Ну, так это, – посмотришь на него – душа радуется: животик круглый, рожа такая умильная, головушку эдак на плечико кладет, улыбается, весь лоснится от довольства...

А однажды, помню, забрел к нам в монастырь настоящий юродивый. Как есть юродивый: ободранный, вшивый, побитый, мочой от него – за версту, пророчества выкрикивает, глаза горят, ну и прочие прямые признаки. Прямо Исая, не приведи Господь! Казалось бы – примите с почестями, ведь это ж божий человек, а? Бац, – телефонный звонок от Главного: кто это мол, братцы, колбасится там у ворот? Только бомжей нам тут не хватало! Ну-к, заломите его и дайте такого пенделя, чтоб дорогу сюда забыл...

– Включите-ка радио, Слава – попросила я. – Что там в *ваших* новостях про нас?

– А что – новости? Сегодня с утра все – про девальвацию в Аргентине. Ну, говорю, до чего нервные эти латиносы! Песо, понимаешь, стал шесть штук на доллар. А херово ли вам жилось бы, ребята, если б в одно прекрасное утро вы проснулись, а песо с шести за доллар прыгнуло бы до семнадцати? А?! И – ничего, и – похеру мороз...

Он повернул ручку, и в уши грохнуло:

– Ах, любя-любанька,  
Целую тебя в губоньки,  
За то, что ты поешь, как соловей!  
Сегодня ты на Брайтоне сияешь,  
А завтра, может, выйдешь на Бродвей,  
Ой, вей!

...«Русское радио» передавало в основном песни залихватские, забубенные, уголовные и далеко не русские. Но у Славы эта волна почему-то лучше всего ловилась. Еще у него отлично ловилось православное радио «Святое распятие», ведущие программ которого с утра до вечера боролись за спасение душ проникновенными беседами на евангельские темы. Иногда, в поисках духовной пищи, Слава нетерпеливо переключал радио с одной волны на другую, затем возвращался, снова переключал... А бывало, оно само – от прыжков машины по ухабам и рытвинам – перескакивало с волны на волну, как павиан скачет с ветки на ветку. На слух это составляло причудливые и неожиданные коллажи.

Мы терпеливо выслушали несколько разудалых, с псевдоодесским приторным душком песен, переключили на «Святое распятие», прослушали кусочек передачи об «Азбуковнике» 17 века, со стихами, прочитанными проникновенным постным голосом:

В доме своем, от сна восстав, умыйся,  
Прилунившимся плата краем добре утрися,  
Отцу и матери низко поклонися.  
В школу тщательно иди  
И товарища веди...

– Вона как! – восхитился Слава и переключил опять на «Русское радио», прооравшее знакомым голосом:

– За монетку, за таблеточку,  
Сняли нашу малолеточку,  
Ожидают малолетку небо в клетку,  
В клеточку...

Новостей, однако, не дождалось.

– Да на черта вам новости, Ильинишна? Без них спокойней. Включишь радио – жить не захочется... Сегодня, вот, передавали – вьюноша, примерный сын, спокойный такой рассудительный мальчик, отличник, в школу, как мы слышали, тщательно ходил, закончил ее с золотой медалью, – за ночь порешил топором папу, маму, бабушку и сестренку семнадцати лет... Отличник, золотая медаль, а?! Говорят, он шизофреником был. А я так полагаю, достали они его с этой учебой! Ну, думаю – насчет своего олигофрена, надо бы это на заметку взять. Палку, мол, не перегнуть бы...

В подъезде в нос мне опятьшибанул запах горелого. На сей раз горела пластмасса, запах уж больно въедливый и мерзкий. Лифт стоял... Вместо кнопки вызова оплывала, чадила черная горячая капля. Ее задумчиво обнюхивал громадный черный пес, закрывая проход наверх. Я с минуту потопталась на почтительном расстоянии, наконец, вежливо, но с усилием, как шкаф, отодвинула эту лошадь и стала подниматься по лестнице.

Двумя этажами выше кто-то легко, почти неслышно взбегал по ступенькам. Перегнувшись через перила, я заглянула вверх. Увидела только мелькнувшие детские кроссовки...

– Э-э-эй!!! Стой, мальчик!

Где-то хлопнула дверь, и все смолкло...

Открыла мне дочь с незнакомым, каким-то оцепенелым, опухшим от слез лицом.

– Они взорвали дельфинариум, – сказала она на иврите. Я ничего не поняла, но ее лицо страшно меня испугало. Стылая тошнота подкатила к горлу.

– Что... где... что это?! Это где дельфины?!

– О, Господи, – зарыдала она, – мама, ты как всегда ничего не знаешь! Это дискотека в Тель-Авиве, дискотека!!! Ребята пришли потанцевать!

И монотонно, как заученную молитву, повторяя «они пришли потанцевать, они пришли потанцевать!», закрылась в своей комнате.

*Microsoft Word, рабочий стол, папка rossia, файл sindikat*

«...кажется, у Яши дома неприятности – он ходит потерянный и какой-то заспанный, вернее, недоспавший. Он мне бесконечно симпатичен – Яша. Рубашки всегда мятые. Видно, стиральная машина работает исправно, а вот две пары девичьих рук, что должны бы отца выпускать на люди с иголки, заняты чем-то другим. Чем?

Я переждала дня два, потом все-таки на свой страх и риск полезла в душу. В крайнем случае, пошлет меня к чертям. Сначала он мялся, недоговаривал, потом расстроился настолько, что все разом мне и вывалил:

– Понимаешь, напрасно Москву выбрал. Надо было в какую-нибудь тьмутаракань забиться, в какое-нибудь Сельцо под Брянском, где одна закусочная под названием «Рюмочная».

– В Сельцо синдиков не посылают.

– В том-то и дело... – расстроено сказал он. – Выросли мои девки, нате-пожалуйста! Я ж их совсем не вижу. Где они шляются, чем заняты... На днях прихожу домой и застаю вальяжного такого господина в кресле...

– В твоём халате?

– Да нет, – он махнул рукой, – они вообще не по этой части, они очень нравственные девочки, если ты имеешь в виду разврат... Там похуже дела...

– Наркотики?! – ахнула я.

– Нет-нет, этого еще мне не хватало!.. Хуже, хуже...

– Подожди... – Я встала, закрыла дверь своего кабинета, вернулась и заставила Яшу сесть на диван. – Извини, как родитель – родителю: что может быть хуже наркотиков и блядства?

Он посмотрел на меня измученными впалыми глазами и сказал:

– Непостижимая гениальность... – Он помолчал. – Не знаю – в кого это они, говорят, у моего деда Мини были выдающиеся математические способности, только вот образование не удалось получить... Но эти... Понимаешь, они цифры, числа чувствуют на каком-то паранормальном уровне. Дело даже не в том, что у них замечательные математические данные, таких людей навалом... Но мои как-то видят... сквозь преграду, на расстоянии чувствуют... Как Вольф Мессинг...

– Ничего не понимаю, – сказала я. – Ну и что? В чем беда-то?  
Яша оглянулся на дверь и прошептал:

– Они играют.

– На чем?

– Не на чем, а в карты... Бридж. Преферанс...

– Ну, и что?

– А то, – в полном отчаянии проговорил несчастный отец, – что их нанимают богатые люди – для игры. Вот как домушник запускает в форточку малолетку, чтобы дверь изнутри открыл... За ними охотятся, их перекупают...

– Я... не понимаю... – пробормотала я. – Никогда не играла в карты. Не моя область интересов... Объясни, пожалуйста...

– А чего тут объяснять, – он тяжело и как-то покорно вздохнул. – Бридж, «Роббер», игра математическая, основана на теории вероятности. Суть игры – обмен информацией. На основе заявления партнера ты должен вычислить, какие карты у вас с партнером, какие у противника. Так вот, им даже не нужен никакой обмен информацией, они – обе – все карты просто видят, кожей, нюхом – не знаю чем, а кроме того, друг друга чувствуют за тысячи километров, мысли читают...

– А сколько игроков в этой игре?

– Четверо, играют по двое, партнеры сидят друг напротив друга.  
Крестом.

– И что?

– Ну, и богатые люди нанимают профессионала – играть в паре.

– А твои девочки...

– А мои девочки, – проговорил он упавшим голосом, – как раз и есть – профессионалы. И, похоже, это уже знает вся Москва... кроме нашего департамента *Бдительности*...

Мы сидели с ним и молчали... Бедный Яша!

В тот раз я, кажется, пошутила – мол, по крайней мере, они обеспечат твою забубенную старость... Но, честно говоря, не знаю – как относиться ко всей этой оригинальной истории...»

## Глава 9. Азария

Московский филиал Синдиката являл собой зеркальное отражение Иерусалимского Центра, с той лишь разницей, что все департаменты в Центре были неизмеримо многолюдней. На каждого синдика в Москве приходилось по десятку начальников в Иерусалиме. И все они отчитывались результатами нашей работы перед Верховным Синдиком и Ежегодной Контрольной Комиссией Всемирного Синдиката. Можно лишь представить, сколько иерусалимских наездников сидело на горбу каждого из нас, как прищпоривали они – каждый своего – мула, как покрикивали и щелкали бичом над нашими задами, и без того облепленными оводами...

Время от времени по электронной почте я получала из Центра послания от самых разных начальников: из *Аналитического* департамента, из департаментов – *Контроля над ситуацией*, *Кадровой политики*, *Стратегии глобальных проектов*, из департамента *Внедрения идей*...

Первое время я пугалась, мучительно задумывалась над смыслом посланий, вытягивалась во фронт, становилась под ружье, писала – как требовалось в запросах – планы на будущее или отчеты по прошедшему. Причем, отсылая электронные эти сообщения, переживала всегда одно и то же мистическое чувство: будто пуляю записку в черную утробу Вселенной: кому? зачем? кто ее прочтет?

Из-за специальной выделенной линии Интернета послания – чавк! – улечивались в мгновение ока. Было в этом что-то бесовское, сверхъестественное, пугающее...

Помню, на ответ по какому-то первому, бессмысленному запросу из Центра я заставила работать три дня весь свой департамент. Отослала отчет и стала ждать реакции. Ну, не «спасибо», – я была уже не столь наивна, – но хотя бы какой-то знак! Спустя неделю послала письмишко, – ребята, мол, ау, как там с нашим отчетом? В ответ – великое молчание Вселенной.

Наконец я поняла, что начальству не нужны никакие мои инициативы. А вот что нужно – неведомо. Тогда и я перестала отзываться, вытягиваться в струнку, бить поклоны и выстраивать на плацу свой взвод. Увидев знакомый адрес и заглянув на минутку в требования очередного начальника или обнаружив очередную цветную диаграмму, движением указательного пальца по «мышке» я вышвыривала из почты этот мусор.

Однако среди прочего баракла время от времени стали появляться письма, резко отличающиеся по тону и стилю от посланий остальной синдикатовской братии.

Отправитель – он подписывался именем *Азария* – ничего от меня не требовал, только горестно сообщал о жертвах новых терактов, обличал безобразия в самых разных областях жизни Израиля и России, размышлял над истоками нынешних бед нашего народа и даже пророчествовал, цитируя священные тексты.

Иврит, между нами говоря, язык высокопарный. На нем говорили пророки, и это великое обстоятельство – главный его недостаток. Письмо, которое начинается словами «Мир всем!», а заканчивается «С благословением»... человеку с современным русскоязычным сознанием трудно воспринимать адекватно.

Но, помню, первое его послание начиналось вполне человеческим тоном:

*«Чертова пропасть денег уходит в дым! – писал он. – Тратятся десятки, сотни тысяч долларов на никому не нужные заседания, совещания, высасывания из пальцев идиотских проектов... Громоподобный чиновничий аппарат, неповоротливый и нечистоплотный, превратился в обслуживающий сам себя синдикат...»*

Дальше текст менялся интонационно и стилистически, словно автор письма потерял мысль, затуманился, впал от этого в гнев или даже в эпилептический припадок, вдруг принялся

бормотать и вскрикивать, стонать и угрожать, вздымать невидимые кулаки, – словом, ударился в библейскую патетику: *«Берегитесь гнева Господня вы, разжиревшие на деньгах бесконтрольных, шальных; вы, забывшие честь и благородство; берегитесь вы, трясущиеся за свои кресла, не помнящие братьев своих, ждущих помощи! Хотя бы в аду новой кровопролитной войны вспомните слова пророка Ирмиягу: "...таково нечестие твое, что горько оно и достигло сердца твоего. Нутро мое, нутро мое! Я содрогаюсь! Рвутся стены сердца моего, ноет сердце мое во мне! Не могу молчать, ибо слышишь ты, душа моя, звук рога, тревогу брани!"»*

Это письмо было адресовано всей московской коллегии Синдиката.

– Во дает! – подумала я с удовольствием. И немедленно позвонила Яше Соколу.

– Ты получил революционное письмишко из Центра?

– Подожди, – сказал он невыспавшимся голосом. – Я еще не смотрел сегодня почту...

Включаю... От кого, говоришь?

– Сейчас взгляну на имя... Азария какой-то...

– Нет такого...

– Смотри внимательней. Письмо отправлено всем синдикатам.

– Да нет же, говорю тебе! А что там?

– Поднимись сейчас же, не пожалеешь.

Он явился, пробежал глазами текст в экране моего компьютера:

– Что это? – спросил он. – Какой-то проект?

– Какой там, к черту, проект, – сказала я. – Читай внимательно...

– Ничего не понимаю... – пробормотал Яша, читая с начала... – Кто это пишет?

– Какой-то Азария. Ты знаешь такого?

– Нет... Не из фонда ли Кренцига? Там есть парочка совершенно сумасшедших американов, идеалистов долбаных.

– Слишком уж страстно. Ты почитай, как он неистовствует.

Яша опять уставился в экран: – Да... Сильно, ничего не скажешь. И точно. Представляешь, как его допекли?

Минут пять еще мы тарасились в экран, цокали языками, ахали, восторгались скандальной смелостью этого парня... Однако получалось, что послание пришло мне одной. Мы осторожно обзвонили остальных. Никто понятия не имел – кто такой Азария, в каком департаменте Центра подвизается и чем ведает. Правду-матку, однако, он резал отчаянно.

Наконец мы с Яшей решили, что это какой-нибудь прохожий правдолюбец, ненавистник Синдиката, каких достаточно в отечестве, оказавшись случайно в коридорах Центра, припал на минутку к свободному компьютеру и послал в Россию воззвание. На деревню дедушке. То есть мне.

– погоди, а имена остальных синдиков? – спросила я.

– Увидел пачку деловых бумаг на столе, – предположил Яша, – прочел имена. Составил письмо с намерением послать всем. Твое имя на слуху, тебе послать успел, остальным – нет. Знаешь, как Штирлиц в ставке Мюллера: в коридоре раздались шаги, и актер Тихонов засветил пленку.

\* \* \*

Второе послание от Азарии я получила спустя недели две. На сей раз я была потрясена еще больше. И дело даже не в том, что это письмо было написано в стиле библейских пророчеств. Дело в том, что целью бичевания он выбрал российскую еврейскую общину. Причем обнаружил прекрасное знание предмета:

...«*Потеряв чувство опасности, они грызутся друг с другом, создавая все новые конгрессы и клубы, фонды и организации, группы и группки; пастыри их собирают вокруг себя паству, что враждует друг с другом, не стыдясь позора, насмешки, огласки; оголяя срам свой перед народами другими, они делят огромные деньги, зарабатывая на жертвах своего же народа, они служат чужим царям, не помня, что смерть бежит по следам богатства, что свинцовые застенки жддут поглотить того, кто вчера еще мнил себя владыкой своей судьбы, Иосифом Прекрасным на службе у фараона... Они пируют в забвении самодовольства, не слыша грохота пальбы – не так ли и Бельшиацар<sup>2</sup> пировал в своем дворце в последние свои дни?.. Ведь день настанет, настанет день, когда – сказал Йешаягу, великий пророк наш, – “каждый будет, как олень гонимый, и как овцы без пастыря, – обратится каждый к народу своему и побежит в страну свою”».*

Я опять вызвала Яшу. Сидели мы над текстом основательно, как над сложной шифровкой. И вновь оказалось, что письмо послано только мне одной. Что-то он от меня хотел. Но кто он, кто?! На мои осторожно-вопрошающие письма не отвечал. Вообще, производил впечатление невменяемого угрюмца. Очень был мне симпатичен.

В конце концов, я открыла специальную папку у себя в компьютере, пометив ее именем *azarya*, и стала зачем-то копить его вопящие, как крики подраненного зверя, послания.

*Microsoft Word, рабочий стол, папка rossia, файл sindikat*

«...вчера, в беглом разговоре с Яшей Соколом обнаружилось интригующее обстоятельство, о котором я не имела понятия, может быть, потому, что была в командировке в Ростове: оказывается, в Центральном Синдикате на днях создан, укомплектован сотрудниками и уже на всех парах действует новый *тайный департамент Розыска десяти потерянных израилевых колен*.

Я вытаращила глаза и долго не могла выговорить ничего, кроме нечленораздельного и нецензурного мычания. Вспомнила все странные совпадения, обрывки разговоров... Очень почему-то разволновалась и встревожилась.

– Ну, это какая-то фантастика! – выдохнула я.

– Почему, – возразил Яша спокойно, – интересное новое направление, нестандартный подход. Да, слов нет, – дело щепетильное, как ты сама понимаешь, и давнее: вавилонский след, Салманасар, сука рваная, – разоренное израильское царство, угнанные наши дети, ищи-свищи их следы... Но ведь и мы не пальцем деланы и не ногой сморкаемся. И вот умельцы с кафедры этно-гебраистики исторического отделения Университета Вечной учебы в Иерусалиме совместно с двумя молодыми гениями программирования из Бар-Иланского Университета разработали эксклюзивную такую программку, в которую забиваются данные определенной составленной анкеты, заполненной каждым *потенциальным восходящим*. В результате обработки данных компьютер выдает кривую рода конкретной личности за период плюс-минус пяти тысяч лет. Нехило? Далее, умельцы сугубо засекреченной кафедры биогенетики института Зицмана, в свою очередь, разработали какую-то непреложную формулу крови, что-то там доказывающую...

---

<sup>2</sup> *Бельшиацар – Валтасар*, царь Вавилона, на пиру которого произошли легендарные события с участием пророка Даниила (*иврит*).

– Вот ты народ забавляешь, – говорит Яша, – в своем департаменте Фенечек-Тусовок, а мы уже недели три как трудимся. Крутимся, как ненормальные, двух новых сотрудниц наняли на сортировку и отправку результатов анализа.

– Какого... анализа?!

– А у нас все *потенциальные восходящие* как миленькие заполняют анкеты и кровь сдают.

– На что кровь-то?!

– Неважно. На наличие диабета. Наш народ только и стремится лишний раз сдать мочу или кровь. К тому же вся эта процедура своей походной компактностью как раз и напоминает домашние проверки уровня сахара в крови... Ты скажешь, бред, афера? Но, знаешь, время от времени – срабатывает!

– Что – срабатывает? – спросила я тупо.

– Да то, что из нового департамента *Розыска потерянных колен* приходит электронное сообщение: индивид Михаил Степанович Головащенко принадлежит к потерянному колену Иссахара! Кстати, в анкете и стих присутствует, библейская характеристика, помнишь, что дана родоначальнику каждого колена праотцем нашим, Яковом, на смертном одре. Так вот, Головащенко, например, из колена Иссахара:

«Иссахар, осел костистый, лежащий среди заград. И преклонил плечи свои для ношения клади, и стал работать в уплату дани». Головащенко, между прочим, в процессе длительной беседы действительно производит впечатление осла.

Я поинтересовалась – на черта вся эта катавасия, и какая разница – к какому, например, колену принадлежит наш старый пропойца апостол Петр Гурвиц? Яша ответил, как он всегда отвечает – а интересно же! Восстановление народного тела, понимаешь, великая миссия. Красивое имя, высокая честь...

Ну, Яша, – оно известно, – романтик. Но удивительно, что романтиками предстают и отцы нашего ордена. И несентиментальные американские евреи, на чьи пожертвования производятся все эти сомнительные исторические разыскания.

Что бы это значило? И что значил тот недавний разговор в «Лицее» с Ной Рувимычем об этих самых коленах? Его фантастическую прозорливость? Или нечто большее?

Между прочим, о Клещатике: грех жаловаться, первый наш семинар по искусству прошел замечательно. Вот что значит, как говорит мой Костян, «фильтровать базар». «Договорились с Рувимычем по-хорошему, и, видите, – дядя не стал топить котят», – говорит он. Вообще, заметно меня зауважал. Да, Ной Рувимыч не стал топить котят, наоборот: тем же днем, как и было обещано, мне позвонила Ниночка, главный менеджер «Глобал-Цивилизейшн», аккуратнейшим образом записала все наши просьбы и нужды, повторяя диктуемое мною журчаще успокаивающим голосом, и – камень упал с моей души... Выяснилось, что ничего мне не надо делать самой: бегать, ехать-договариваться в дом творчества, закупать блокноты-ручки-бумагую-воду... А для всего этого есть ангел небесный, Ниночка... Она-то и свяжется с дирекцией дома творчества, договорится об условиях проживания...

И все прошло как по маслу, художники были счастливы, работали, не разгибая спин, и десять пронумерованных папок с отличными литографиями пустились в путешествия по самым разным стезям: одна в музей им. Пушкина, другая – на выставку в Словению, третья – в Еврейский музей Нью-Йорка...

Даже Клава, уважительно листая твердые литографские листы, сказал удовлетворенно: – Хорошая папка. Большая. Синяя... Налепи на эту замбуру наш синдикатовский знак, и пусть стоит здесь, у меня в кабинете. Буду показывать всем залетным бездельникам. Хотя они ни черта не понимают в искусстве...

Правда, после семинара я взглянула на представленный к подписи счет за услуги и в ужасе откинулась в кресле: – Нина, позвольте...

Мне позволили самым любезным образом: объяснили каждый пункт, каждую запятую, накрутили проценты, закрутили хвосты...

– Ну, что? – спросила Рома, после того как за Ниночкой закрылась дверь.

В голосе ее мне почудилось скрытое торжество. На самом деле, вряд ли она торжествует: она терпеть не может Клещатика и только на днях жаловалась, что Гройс задыхается в железных лапах Ной Рувимыча, поскольку тот является подрядчиком по организации всех пленумов, форумов, конференций и презентаций еврейских конгрессов, рождаемых Гройсом в деятельных муках. Однако Рома довольна, что Ной Рувимыч меня приручил, и тем самым – проучил. Я же в бешенстве... Ну, ладно, думаю я, семинары, особенно профессиональные, – дело нужное, интересное... на них и денег не жалко. Но все эти гоп-со-смыком в кремлевских палатах, все эти на-дерибасовской-пивная с солированием Фиры Ватник на льду... не пройдет! Посмотрим, как он вытянет у меня из-за пазухи кошелек департамента! Не дам ни копейки! Насмерть буду стоять!»

*Из «Базы данных обращений в Синдикат».*

*Департамент Фенечек-тусовок.*

*Обращение № 334:*

*Беспокойный женский голос:*

*– Я слышала, у вас анализы сдают – как записаться, а? И на какие болезни? Опушение матки годится?*

## Глава 10. «Двойная запись – принцип бухучета!»

Существование нашей организации, балансирующей на узеньком мостике между израильской и российской законностью, предполагало известное умение эквilibрировать. Гербом нашим справедливо было бы водрузить две маски античной сцены: одну скорбную, с опущенными углами рта и горестно поднятыми бровями, другую – маску веселого безумства, со щелью рта, растянутой до ушей.

У еврейской общины России было три Главных раввина. В нашей организации было два Главных бухгалтера.

Один, израильтянин Джеки Чаплин, – добродушный и покладистый парень, со ртом, всегда растянутым до ушей. Другой же... вернее, другая...

Главный бухгалтер нашей российской бухгалтерии Роза Марселовна Мцех, – давным-давно, на заре деятельности Синдиката переименованная каким-то веселым синдиком в Угрозу Расстреловну Всех, – была мужчиной, причем, мужчиной-воином: по сути, по ухваткам, по голосу и по манере выражаться. Даже ее походка была не просто мужской, а чеканно-молодцеватой, какую приобретают курсанты военной школы на третьем году маршировки по плацу в любую погоду.

В любую погоду Угроза Расстреловна, живущая где-то в Протвино, первой входила через бронированную проходную Синдиката, первой открывала дверь кабинета, усаживалась за компьютер и, закулив сигарету, решала – кому НЕ ДАТЬ денег.

Собственно, была б ее воля, она бы не дала их никому. Честная, порядочная, даже благородная мужчина, она ненавидела Главного подрядчика Синдиката Клещатика, и не без основания считала, что огромная часть денег организации оседает в его закромах. И потому до последней минуты на всякий случай тормозила выплаты по всем проектам.

– Хозяина настоящего на вас нет, – говорила она. – Вот, в той организации, где я до вас служила, там знали, как человека прижучить!

Ее боялись все. Даже Клава в ее присутствии забывал отпускать свои шуточки. Даже Шая – единственную ее! – не заставлял валиться под стол на грязный пол кабинета, а только следил, чтобы она присела на корточки, как приседают по нужде за придорожным кустом...

Мы же с Яшей просто тряслись при громовых звуках ее командорской поступи. Изя принимался вертеться угрем, что-то бормотать, набирать какие-то адреса на мобильнике... Скукоживался и замирал. Да и Миша, обычно такой бойкий Панчер, предпочитал ускользнуть, испариться...

А уж как боялся ее Петюня Гурвиц, – хотя, по субординации, Угроза Расстреловна находилась в его подчинении.

Проходя мимо его кабинета, в котором решались многие финансовые вопросы, можно было частенько слышать из-за закрытой двери ее тягучий ор:

– А я вас спрашиваю – почему у вас не встает сальдо?!

И оправдывающийся голос Петюни:

– Потому что, я вам сейчас все объясню...

– Нет, я вас опять спрашиваю: почему у вас не встает сальдо ни на начало, ни на кончало!

Невероятно, но даже баба Нюта в кабинете Угрозы Расстреловны понижала на терцию голос, не выделяла ногами антраша и не скребла ногтями стол. Словом, все мы трепетали, поскольку именно Угроза Расстреловна была той силой, что вечно хотела блага и вечно совершала зло...

Яша продолжал настаивать, что российских аудиторов навела на Синдикат она, вот как глазливая баба наводит порчу на крепенького толстощекого младенца. Эти аудиторы, с утра

рассевшиеся в «инструктажной» над своими бумагами, подтачивали румяный организм Синдиката, как глист...

Когда у синдика, стоящего перед осуществлением важного действия, таяла последняя надежда вытянуть к заветной дате рубли из кошелька Угрозы Расстреловны, он подкарауливал Джеки, которого не так и легко было застать в его кабинете, и говорил умоляющим голосом: – Джеки! Эта сука, ты ж ее знаешь... Она опять уперлась... А я горю синим огнем, Джеки, милый... Мне сегодня до зарезу надо оплатить проезд участникам конференции, они вечером уезжают... Спасай!

Вообще-то, согласно строжайшим инструкциям Центра, валюту гражданам России выдавать было нельзя никак. Все россияне, вступающие в деловые сношения с нашей строгой организацией, должны были становиться в затылочек, оформлять договор по всей форме российского закона и деньги получать в рублях, на свой банковский счет в Химках, в Братеево, в Бирюлево-Южном или где-нибудь на Коровинском шоссе... Скучная материя, господа! Тем более, что на пути к копеечному гонорару стояла Угроза Расстреловна в форме часового, с ружьем наизготовку...

Стоит ли говорить, что все мы частенько на цыпочках обходили этого неусыпного часового: Джеки, с его золотым сердцем и уступчивым нравом, писал на бланке израильской бухгалтерии вымалываемую сумму, ставил закорючку, и, с заветной бумажкой в зубах, мы мчались в кабинет к апостолу Петру Гурвицу, чтобы, позвякивая ключами, тот открыл врата бронированного рая и выдал каждому по грехам его...

Вся эта двойная жизнь была довольно хлопотной, но в то же время и давала нам известную свободу маневрирования. Я, например, всегда могла послать ходяков, явившихся с идеями, проектами или рукописями, длинной обходной дорогой, через бурелом, напрямик к часовому на штык... Ну что ж, друзья мои, говорила я, пишите заявку, мы передадим ее Розе Марселовне, и если она решит, что на это есть деньги в бюджете департамента, заключим договор, и со следующего месяца... Так я поступала с Эсфирь Диамант или Кларой Тихонькой... или какими-нибудь авторами трилогий на тему «Высокая еврейская судьбина».

И совсем другое дело, когда звонит вам Норочка Брук с просьбой оплатить проезд по железной дороге прибывшим из Киева на научный Пленум профессорам Лифшицу и Штерну. Тогда я заходила к Джеки и, потрепавшись о том о сем, выходила с заветной бумажкой, после чего наш вечно пьяный патриарх, вздыхая, качая головой и приговаривая, что это в последний раз, рассказывая какой-нибудь скабресный анекдот, гремя ключами, отворял врата рая и отсчитывал просимые сто тридцать восемь долларов... Изумленные же и растроганные профессора Лифшиц и Штерн, со своими стабильными зарплатами в гривнах, писали расписки в получении твердой валюты радостными твердыми почерками.

*Из «Базы данных обращений в Синдикат».*

*Департамент Фенечек-Тусовок.*

*Обращение № 839:*

*Бойкий женский голос:*

*– Миленькие, а вы и до Германиши дорогу оплачиваете?*

\* \* \*

Когда впервые в ворохе электронной почты мне попала депеша из департамента *Розыска потерянных колен* о том, что Геворкян Нателла Леоновна, 48 года рождения, профессия – переводчик с английского, принадлежит к потерянному колену Шимона (библейская психо-лингво-генетическая характеристика: «проклят гнев их, ибо силен; и ярость их, ибо

тяжела»), – я возмутилась, немедленно настрочила письмо по обратному адресу, в котором заявляла, что в задачи вверенного мне департамента не входит розыск кого бы то ни было, ни тайный, ни явный, что я работаю с интеллигенцией методами, отличающимися от обычных ухваток синдикатовских наемников, что мне безразлично – к какому колену принадлежит Нателла Леоновна, и принадлежит ли вообще, а вот если она хороший переводчик, то я с удовольствием приглашу ее для синхронного перевода международной конференции на тему «Концепт греха в славянской и иудейской традициях».

В тот день никто не отозвался на мое гневное письмо, но на следующее же утро в свежей почте оказалось новое бесстрастное сообщение о некоем Петренко Сергее Пахомовиче, слесаре-ремонтнике, принадлежащем к колену Леви.

Я вздохнула и покорилась судьбе – очевидно, это была их рутинная рассылка, которую они отправляли главам всех департаментов.

\* \* \*

Клавдий оказался прав: месяца не проходило, чтобы на наши головы не сваливалась очередная комиссия из Центра или стайка американских спонсоров – с проверкой нашей работы.

Ритуал приема комиссии сложился в Синдикате не вчера: всю российскую коллегия – всех восьмерых синдиков – сгоняли в «переключку», и Клава, стоя сбоку от огромной карты Российской Федерации и сопредельных государств, утыканной цветными кнопками в местах мало-мальского скопления евреев, гулял по ней рубиновым огоньком лазерного фонарика.

– Это Норильск! – провозглашал наш патрон. – Там проживает двадцать четыре еврея!.. А это Кушка... и наши тоже греют там задницы.

За спиной его стояли флаги Израиля и России, флаг Центрального Синдиката и простоватый наш – Синдиката Российского. Пунцовый огонек, как от тлеющей сигареты, скакал, описывая гигантские дуги, вычерчивая геометрические фигуры; пропадая, вновь вспыхивал где-то на Курильских островах. Все это напоминало известный сюжет не такого уж далекого советского прошлого. Про себя я называла этот номер «Песнь ГОЭЛРО».

Месяца через три после начала каденции все мы привыкли, как говорил Яша, к «хепенингу», и пока члены очередной комиссии вращали зрчками, пытаясь проследить вычерчиваемые Клавой траектории расселения евреев по просторам бывших советских республик, каждый из синдиков занимался своим делом. Яша рисовал комиксы, я тоже чиркала что-то на листке бумаги. Изя Коваль сидел по уши в своем, каждый раз новом, еще более усовершенствованном мобильнике. Баба Нюта любовалась своими отполированными ногтями, крашенными лаком всегда невероятного, не имеющего аналога в природе цвета. Задрав ногу на ногу, гладила, ласкала свои коленки, с места перебивая Клаву молодецким задиристым голосом старой ведьмы, что всегда приводило его в ярость, которую он, к сожалению, не мог изъяснить при посторонних. Так глава семьи при гостях не всегда может дать подзатыльник зарвавшемуся отпрыску.

Клава лишь багровел и вступал с бабой Нютой в сдержанные перепалки.

– Из Петропавловска-на-Камчатке сюда девять часов лету! – провозглашал он.

– Двенадцать! – встревала баба Нюта.

– Девять! – повышал голос наш патрон.

– Двенадцать! – квакала старая мерзавка.

Супруг ее Овадья, – вот кто наизусть знал время пути самолетов, поездов, автобусов, держал в голове расписание поездов всех направлений любого московского вокзала, ибо всегда находился в дороге. Как трудолюбивая пчелка выбирает с цветка пыльцу до доньшка, Овадья неустанно, до копейки выбирал свой и Нютин командировочный фонд, положенный семье

каждого синдика. Фонд немалый, но реализовать эти деньги можно было только беспрестанно болтаясь в поездах, автобусах и самолетах, и никому из нас не удавалось исчерпать до дна благословенный источник. И только баба Нюта придумала славный ход: без единого дня продыху она засылала и засылала своего кроткого сталкера в безбрежную зону. Вернувшись из Брянска и пообедав, он сразу же пересаживался на поезд в Нижний Новгород, где у нас тоже было представительство, а явившись туда, терпеливо переждал в тамошнем офисе дня два, попивая чаек и доброжелательно рассматривая из окошка гуляющих прохожих, кошек и собак, куриц и индюшек... Вернувшись из Нижнего и поужинав, он уже мчался в аэропорт, чтобы наведаться с мифической проверкой в какой-нибудь Ростов.

Чего только с ним не происходило! Еврей родом из Йемена, он не знал ни слова по-русски, и не было никакой надежды, что узнает. Местные жители принимали его за какую-то бывшесоветскую национальность. Он мог сойти и за азербайджанца, и за грузина, и за армянина, за осетина, за кабардино-балкарца, а при желании и за узбека, и за таджика... Не был он похож только на еврея, что, собственно, и спасало его в железнодорожных и прочих поворотах судьбы. Его даже не часто били, потому что был он человеком доброжелательным и осторожным.

...Уже не однажды Клава затевал разговор о сокращении штата: содержание синдика в такой дорогой столице, как Москва, стоило Синдикату – как писал в своих гневных посланиях Азария – «чертову пропасть денег». Когда возникала тема сокращения штата, все головы автоматически поворачивались в сторону бабы Нюты, красящей ногти. Она была ветераном Синдиката и провожала в обратную дорогу не одно поколение синдиков.

Пора было, ох, пора было посадить и ее в самолет, летящий в одну сторону...

Покрывая желтым лаком ноготь костлявого среднего пальца левой руки, не поднимая глаз, она отчеканивала:

– Можете от злости сожрать свои собственные кишки, говнюки вонючие! Я здесь десять лет сижу и дальше сидеть буду!

Клава в такие моменты багровел и задыхался...

...В день приезда очередной комиссии Центра Клава опять затынул у карты «Песнь ГОЭЛРО». Собственно, приехали на этот раз «свой», родное начальство – Гедалья Шток, Главный аналитик Синдиката, с внешностью траченного развратом и проказой римского сенатора, и элегантный, не без артистической жилки Иммануэль, глава департамента Глобальной Стратегии. Так что обычный свой аттракцион Клава свернул быстрее, чем всегда, и сел, вздев повыше штанины на толстых ногах.

Когда Клава умолк и закурил, Изя повернулся к Мише Панчеру и сказал, победно сияя:

– Смотри, сынок! Если ты в сети «Мегафон», то можешь играть по мобильнику в казино. Пожалуйста: рулетка, покер, блэк-джек... Отправляешь sms-команды на сервисный номер и ждешь ответа... И забираешь выигрыш, если повезет!

Панчер подпрыгнул на стуле, собираясь ответить что-то, выражаясь языком сотрудников его департамента, «прикольное», но тут Джеки Чаплин, странно изменившись в лице, быстро спросил на иврите Изю:

– Казино? Ты сказал – казино? Что, можно играть по мобильнику?!

Тот обрадовался вниманию, перешел на иврит и стал подробно объяснять Джеки – как делать ставки...

В то время как Гедалья Шток лающим голосом командира эскадры выкрикивал какие-то команды, Клава скучливо гулял по фальшпотолку огоньком фонарика, пытаясь попасть рубиновой точкой в дырочки. И был похож на подростка-разгильдяя. Мельком поймал мой внимательный взгляд, подмигнул мне, потом уставился на Изю Ковалю. Тот колдовал над

мобильником, вытаскивая из недр его все новые и новые неведомые простым смертным чудеса прогресса.

– Изя, – буркнул Клава, – что ты там нашел, голую бабу?

Клава, конечно, шутил, но все его шутки имели пророческую судьбу.

Изя, кадровый сотрудник Синдиката, засланный воплощать на просторах России мечту о новом, вернее, старом Еврее, по уши загруженном нужной ментальностью, сидел на миллионах и не ставил перед собой никаких задач, кроме покупки очередной, новейшей модели сотового телефона.

Мы с Яшей, куда более бедные, но кипящие идеями, время от времени подступались к Изе, – подоить его на свои совместные *тусовки*.

При этой процедуре Изя продолжал задумчиво играть в какую-нибудь игру, запрятанную в мобильник ловкими изобретателями, – так корова продолжает задумчиво жевать траву, в то время как проворные пальцы доярки скользят у нее под выменем, а струйки молока бодро звенят о дно подойника...

После того, как на узком совещании глав двух департаментов мы с Яшей составляли план какого-нибудь совместного семинара, он хлопал себя по колену и говорил озабоченно: да! надо еще пойти обчистить Изю!

Всеми делами департамента *Загрузки ментальности* заправлял Ильич, подручный Изю, его старый друг еще с прошлых советских времен. Это был далеко не единственный случай, когда русский человек Иван Ильич преданно и даже истово волок на себе всю работу департамента, ведающего темой национальной еврейской самоидентификации.

Однажды, заглянув в их кабинет, Яша увидел сюрреалистическую картинку:

Изя сидел за столом и кричал в мобильный телефон:

– Ильич! Ильич, сука рваная! Ильич, сучий потрох!!!

Ильич сидел напротив него за столом и, улыбаясь, следил за начальником.

Выяснилось, что Изя испытывает новый мобильник, который на звук голоса должен высвечивать номер телефона произносимого имени. Но действовал, сучий потрох, только при сильном повышении голоса.

– Видишь, – сказал Изю Яше, – цена всей их продукции. Ильич, сука гребаная!!! – заорал он в аппарат.

Ильич безмятежно улыбался.

Именно он собирал *потенциальных восходящих* на комплексные семинары под условным названием «Вспомним всю семью».

Тяжело вспоминали... Вообще, тяжело шла загрузка нужной Синдикату ментальности, ни дать ни взять – погрузка леса на баржи в доках порта.

Ведь все эти люди, частью даже образованные, совсем ничего не знали ни об истории, ни о культуре, ни о традициях своего народа... Все они попадали под принятое в иудаизме определение «украденные дети», ибо некогда еще их деды были украдены у своей истории умелой и наглой воровкой – советской властью.

Но Синдикат с излишним, на мой взгляд, гостеприимным напором разворачивал перед растерянной паствой богатую скатерть самобранку: хватай, запихивай в себя обеими руками, торопись прожевать, глотай и снова хватай все новые и новые кушанья... И они, эти украденные дети, возвращенные и вскормленные на совсем иной кашке, томились... удивлялись и не спешили вкусить от заморских, незнакомых на вкус, восточных по виду яств... (И то сказать: объевшись самого изысканного и экзотичного деликатеса, бывает, трое суток потом блюешь и стонешь...)

...Между тем, Гедаля Шток, Главный аналитик Синдиката, нагнетал очередную бурю, пугая синдигов страшными ведомственными карами в случае, если число *восходящих* не вырастет в самые ближайшие дни. Для чего вы все тут сидите, выкрикивал он, багровея и трясясь, от чего розовые лишай псориаза расцветали на его лице и руках диковинными цветами.

Вообще, Шток был достопримечательностью Синдиката, динамо-машиной, что заряжалась сама от себя, набирая обороты, раскручиваясь и выдавая феерический заряд античной трагедии: так и мелькали бешеной мельницей короткие ручки, неряшливо припаянные вприщип к огромному пузу...

У Штока, еще со времен его пребывания в должности рядового синдика, осталась зазноба в Дзержинске, под Москвой. Это была Большая Семейная Тайна Синдиката. В свое время он пристроил ее инструктором в местное отделение и часто навещал, останавливаясь в Москве и попутно устраивая нам античные представления. Иногда вызывал ее из Дзержинска в Москву, и тогда она смиренно сидела на наших *перекличках*,

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.